



Сергей  
Лебедев



Гусь Фриц

роман



Самое время!

Сергей Лебедев

**Гусь Фриц**

«WebKniga»

2018

## **Лебедев С.**

Гусь Фриц / С. Лебедев — «WebKniga», 2018 — (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-1714-3

Россия и Германия. Наверное, нет двух других стран, которые имели бы такие глубокие и трагические связи. Русские немцы — люди промежутка, больше не свои там, на родине, и чужие здесь, в России. Две мировые войны. Две самые страшные диктатуры в истории человечества: Сталин и Гитлер. Образ врага с Востока и образ врага с Запада. И между жерновами истории, между двумя тоталитарными режимами, вынуждавшими людей уничтожать собственное прошлое, принимать отчеканенные государством политически верные идентичности, — история одной семьи, чей предок прибыл в Россию из Германии как апостол гомеопатии, оставив своим потомкам зыбкий мир на стыке культур.

ISBN 978-5-9691-1714-3

© Лебедев С., 2018

© WebKniga, 2018

# Содержание

Информация от издательства	5
Гусь Фриц. Роман	6
Конец ознакомительного фрагмента.	43

## Сергей Лебедев. Гусь Фриц

*...Сюда пригнал он связанных друг с другом  
быков, собак и белоруный скот.  
Тут началась расправа: тех в затылок  
он поражал, тех в горло, тех мечом  
он надвое рубил; иных в оковах  
он истязал – людей он, верно, видел,  
а не животных бессловесных, в них.*

*Софокл. «Аякс»*

### Информация от издательства

**Лебедев С.**

Гусь Фриц: роман / Сергей Лебедев. – М.: Время, 2018. – (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-1714-3

Россия и Германия. Наверное, нет двух других стран, которые имели бы такие глубокие и трагические связи. Русские немцы – люди промежутка, больше не свои там, на родине, и чужие здесь, в России. Две мировые войны. Две самые страшные диктатуры в истории человечества: Сталин и Гитлер. Образ врага с Востока и образ врага с Запада. И между жерновами истории, между двумя тоталитарными режимами, вынуждавшими людей уничтожать собственное прошлое, принимать отчеканенные государством политически верные идентичности, – история одной семьи, чей предок прибыл в Россию из Германии как апостол гомеопатии, оставив своим потомкам зыбкий мир на стыке культур, опасное наследство немецкого происхождения, немецкой крови; история рока как такового, достигающего от XIX века до наших дней.

© С. Лебедев, 2018

© «Время», 2018

## Гусь Фриц. Роман

Звук.

Звук воды, отвесно падающей в дождевую бочку, стоящую за стеной дома.

Опрокинутый гейзер струи бьет до самого дна. Ошалев, мечутся мелкие, в половину ладони, караси, принесенные накануне с рыбалки. Кружатся желтая от пылицы пена, розовые соцветия яблонь, прошлогодняя бурая листва и ссохшиеся, с черными пятнами тлена, яблоки, смытые из трубы напором ливня; паутина и уловленные ею букашки, – гляди, блеснуло слюдяным изломом крыло стрекозы!

Гроза срывает, уносит все, что увяло, отжило, – и то, что только что родилось, еще не окрепло, нетвердо держится; остатки минувшего и завязи будущего.

Утром, когда гроза иссякнет, вокруг бочки на смятой траве останется отрыжка перехлестывавшей через край ночной стихии: скукоживающиеся хлопья пены, измочаленные, вымытые до смертной прозрачности соцветия. Караси всплывут белыми брюшками кверху, смерть лишит их единственного достоинства твари – быть верно расположенной в пространстве.

А ты будешь стоять, маленький ребенок, еще помнящий щекой тепло подушки. И никого и ничего тебе не будет жаль: ни рыб, ни соцветий, ни сбитых завязей, будто ты видел это уже десятки раз, в разное время и в разных местах; будто среди многих звуков земли тебе люб только один.

Звук воды, отвесно падающей в дождевую бочку.

\* \* \*

Кирилл глотнул еще вина, закурил сигарету, свернул файл с начатым текстом, отодвинул ноутбук.

Да, теперь в доме никого нет, и можно курить внутри. Вот он, тот угол, где он спал в детстве. Только диван передвинули. И дождя нет. Хотя время то же самое: начало июля.

Почему он начал текст именно так, с воспоминания о грозе?

Вдалеке, на станции, заныла электричка – последняя, наверное, в сторону Москвы... До утра... Электричка пошла, значит, сейчас закроют переезд.

Кирилл вспомнил, как шесть часов назад сам стоял в очереди на этот переезд.

Холодный вечер, остывающий росой на траве, набухающий каплями на горячих капотах машин. Слева – дома за глухим забором, молчаливые, без огней. Справа – речушка в низине, петляющая в зарослях камыша, окруженная лугами. Оттуда-то, с лугов, куда еще не выгоняли коров – топкая почва не просохла с весны, – напоздали клубы густого тумана, играющего обманными радугами в отблесках фонарей.

Стояло безветрие. Туман поглощал звуки. Вдруг внутри тумана, осветив изнутри его зыбкие пелены, проступило расплывчатое сияние, превратившееся в ярко-желтый движущийся шар света. Все водители обернулись. Из полумглы надвигалось нечто столь же мистически-грозное, как гало вокруг солнца, – знак грядущих событий, настолько зловещих, что они могут исторгнуть из немой материи косноязычный символ.

Миг – и жуткое ощущение пропало. Притормозив в густом тумане, московская электричка тихо подкатывалась к переезду; ярко светилась лобовая фара.

Шар света. Это он по цепочке ассоциаций отправил мысль Кирилла к воспоминанию о ночном дожде.

Шар света. Этот образ связан с бабушкой Линой. Кирилл закрыл глаза, пытаясь вспомнить ту давнюю грозовую ночь.

Он снова был ребенком, снова слышал, как приемник объявляет сквозь шуршание помех и певучие стоны радиоволн: «В Московской области ожидается сильный штормовой ветер с порывами до двадцати двух – двадцати трех метров в секунду».

Та гроза собиралась неделю или больше, томила жарой и вялостью. У бабушки Лины ныли кости, но она ходила и ставила подпорки под яблони, осыпанные плодами. Год выдался урожайный, бабушка говорила, что не помнит такого множества яблок, разве что перед войной, в июне сорок первого.

И вот в день седьмой, когда уже казалось, что гроза рассеется, исчерпает себя в слишком долгой натуге или пройдет стороной, прогрехочет за горизонтом, радио с утра передало: «В Московской области ожидается сильный штормовой ветер с порывами до двадцати двух – двадцати трех метров в секунду».

Кирилл не поверил объявлению: небосвод был блеклым, движения трав и ветвей безжизненны; даже вода, казалось, притихла, ослабела от жары, и еле-еле струился лесной ручей.

После полудня вдаль показалась сизая стена облаков. Заметив ее, бабушка Лина прекратила обедать – событие немислимое, ибо она исповедовала законченность всякого дела, движения, жеста, фразы, – и поспешила в огород убрать инструмент и вещи, а Кириллу велела накрепко запереть окна; каждый шпингалет.

Что-то проступило в ней, чего Кирилл не видел раньше. Ее будто преследовали по пятам призраки страшных, непостижимых для него бед: войн, пожаров, наводнений. Но все же бабушка не металась, а собирала вещи скупыми, точными движениями, и траектории ее шагов пролегли по самому короткому, экономному пути, словно были загодя просчитаны и отрепетированы.

Она словно *своих* уводила от опасности – старую плащ-палатку, в которой носили сено, скамеечку, на которой сидели, собирая крыжовник. У крыльца отирался приبلудный кот, но на него бабушка не обращала внимания – невидимый купол ее заботы накрывал только людей и *людское*.

Кирилл пробежался по комнатам, проверил задвижки на окнах; вышел на крыльцо, недовольный бабушкиной тревожной предусмотрительностью, – дождь и дождь, чего бояться?

Потом накрывали парники. Кирилл таскал гладкие булыжники, чтобы придавить пленку, – и через их тяжесть в него постепенно вошла весомая сила будущей бури; когда огурцы и помидоры были укрыты, он, распрямившись, обернулся – и обомлел.

Обособленной гряды облаков, идущей с севера, уже не было. Само небо меняло цвет и материальность, будто гиблая, скоротечная гангрена пожирала небосвод.

Из нее метнулся, как изо рта змеи, фиолетовый язык, лизнул что-то за лесом.

Ударил гром; заложило уши.

Лениво вращавшийся флюгер, выточенный из алюминия на военном авиационном заводе, – подарок армейских друзей деда – вдруг ретиво запел, его пропеллер загудел, слился в светлый мерцающий диск.

Ветер мягко толкнул стены. Прянули, звякнули укрепленные гвоздиками стекла. Слитно качнулись кроны.

Флюгер замедлился, замер, словно катушка спиннинга, когда щука тронула приманку и ушла.

Закапал дождь – тук, тук, тук, тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук-тук... Чистые крупные капли зашумели в листве и на крыше. Ничего страшного. Летний ливень, ну, может, чуть сильнее обычного.

Если бы не сизый нарыв небес!

Бабушка Лина, набросив дождевик, ходила по двору, собирала все железное – тяпку, забытую на грядке, совок, помойное ведро, залитую мыльной водой сковородку.

В грозу она всегда опасалась молний.

Она давно упрашивала сына, отца Кирилла, спилить большие березы, росшие на участке. Высокие деревья притягивают молнии, говорила она. И казалось, она почему-то думает, что грозное электричество ищет ее, пытается настичь.

Это считали причудой: мало ли у кого какие страхи. Да и сама бабушка в погожие дни смеялась над своим испугом. Но вот приближалась буря, и Кирилл почувствовал, что бабушкин страх имеет под собой какое-то основание. Она как будто знала, что именно может произойти, и убирала все вещи, способные притянуть *недоброе*, стать его – в буквальном и небуквальном смысле – проводником.

Дождь, смочив траву и листья, почти перестал. Флюгер крутился с ленцой.

А небо остекленело, выгнулось брюхом к земле, и внутри сгушалась чернильная ядовитая муть.

Раз – и флюгер снова запел; так поет катушка спиннинга, когда щука заглотила блесну и уходит в глубину.

Кирилл инстинктивно посмотрел на самодельный громоотвод, торчащий выше телевизионной антенны: ошкуренную лесину с металлическим стержнем наверху и проводом, уходящим в землю. Ему передалось бабушкино напряженное ожидание, он почувствовал, что неуклюжая эта конструкция – единственная их защита сейчас.

Дрогнул свет ламп. С высоты, с размаху на дом обрушилась стена воды. От сырости мгновенно запотели стекла. Из водосточных труб устремились в бочки бурлящие потоки, по окнам хлестало так, что вода стала просачиваться сквозь трещины в замазке.

Бабушка Лина в прихожей снимала дождевик. Кирилл поднялся на чердак, этажом выше к грому.

Свет конвульсивно моргал. Синие молнии вспарывали муть. В водовороте ливня кружило листву яблонь.

Обломилась ветвь аркада, которую бабушка лечила от лишая на коре. Раздвоенная антоновка разломилась пополам, осела, подпрыгнула от удара о землю, разбросав в разные стороны яблоки. Кроны огромных берез метались на высоте, недостижимой взгляду, и было только видно, как ходят, крелятся под ветром неохватные стволы. Любая береза могла рухнуть на дом, сокрушить его тонкий, поддерживаемый стропилами конек.

Погас свет.

Град. Ледяные комочки, странный летний сахар. Бьет, барабанит по стеклам.

Капает вода с потолка, течет из-под рам – старый дом не рассчитан на такую бурю.

Мыши забегали, лезут наверх по лестнице; наверное, заливают подвал; сколько же их!

Первобытный огонь бросает долгие тени – бабушка на первом этаже зажгла свечу.

Вроде бы множество людей вокруг, в соседских домах. Но они с бабушкой наедине с ветром, мглой и дождем.

Обычно Кирилл чувствовал, что бабушка Лина знает, где он в доме, держит его в поле рассеянного, но чуткого внимания; сейчас это поле исчезло. Бабушка Лина ходит со свечой, снова проверяет шпингалеты. Ее фигура отражается в запотевших стеклах. Она движется как лунатик.

Удар – разлетелось окно, выбитое ветвями яблони. Свеча упала из бабушкиных рук, покатила по полу, но не погасла. Бабушка схватила кухонный поддон, закрыла пролом, словно ждала, что снаружи кто-то полезет. Он поднял свечу, не чувствуя, как горячий воск обжигает пальцы, и встал за ее спиной. В соседнем окне отразилось свечное пламя – но не узким, острым язычком, а светящимся радужным шаром. Бабушка вздрогнула – и стала отступать, держа перед собой поддон как щит: она в страхе защищалась от этого мерцающего шара.

Ветер влетел в разбитое окно и погасил свечу; шар света, отраженный в окне, исчез.

Бабушка Лина осела на пол. Кирилл бросился к ней. Дыхание было слабым, тихим, но легким и чистым, словно дышала не старая, болеющая астмой женщина, а та маленькая девочка, которой она когда-то была.

Минута. Вторая. Третья. Дыхание не менялось.

Он заметил на стене белый шкафчик с домашней аптечкой; в голове возникло бледное слово «обморок», а потом – резкое, пахучее, молодцеватое «нашатырь».

Кирилл поднес смоченную нашатырем ватку к носу бабушки. Он вспомнил, как бабушка выводила нашатырем застарелые пятна, чистила серебряное кольцо, сводя патину. Он верил тогда в эту жидкость, как алхимик, верил, что она изгонит из бабушки то, что вселилось в нее и не дает дышать полной грудью. И нашатырь не подвел, бабушка открыла глаза, отвела его руку с ватой, слабо проговорила:

– Хватит, папочка, хватит, жжется...

Кирилл тогда не заметил этого «папочка», оно прозвучало для него как «лапочка» – бабушка называла его так, когда он делал что-нибудь слишком рьяно, теряя за усердием изящество и точность; *лапочка*. Он был слишком рад, чтобы разобрат, что слышал П вместо Л.

– Принеси, пожалуйста, воды, – попросила бабушка; если бабушка, как всегда, вежлива, значит, она полностью пришла в сознание, сгинул ее странный страх.

Кирилл помог ей подняться. Он хотел спросить, почему бабушка испугалась светящегося отражения в окне, но ощущал, что она не хочет вопросов.

– Я пойду спать, – сказал он и поцеловал ее в щеку.

– Иди, мой хороший, – сказала она нежно. – Буря стихает.

Он закрыл за собой дверь.

Дождь уже не хлестал, а стучал дробно, ровно; из его звуков ушло неистовство. Кирилл устал, будто ураган возносил его в воздух, бросал оземь, разламывал, скручивал, стегал внезапными порывами. Мускулы ныли. И Кирилл понял, что прожил эту бурю вместе с яблонями; мыслью и чувством боролся, подпирал стволы, удерживал ветви; все силы были исчерпаны, и телесные, и душевные. Не расстилая постель, он повалился на свой диван в углу и уснул; вода гулко падала в дождевые бочки; он чувствовал, как натяжены их металлические обручи.

Кирилл спал без сновидений – на них тоже нужны силы; провалился в глубину несуществования.

Он проснулся ближе к полудню; открыв глаза, прислушивался к телу, ставшему пустым и новым, будто необжитым еще.

Когда он вышел на крыльцо, ему показалось, что он еще спит и поэтому шагнул в хаотический мир, где вещи еще не успели вернуться в состояние яви, занять свои места, собраться в привычный порядок.

Выход с крыльца преграждали ветви упавшей яблони. На месте крон и стволов зияла пустота, будто кто-то зловещий изъял их, утащил в другое измерение, вынув тем самым привычные подпорки зрения, сознания, памяти.

Из разломленных стволов вытекал, пенясь, сок, но листва уже увяла; еще вчера она была исполнена жизни, а теперь жизнь ушла – вся и сразу. Только сбитые ветром яблоки блестяли в траве, омытые дождем.

У забора повалило тополь. Его листва, пусть прореженная, осталась глянцевицей, упругой. Казалось, если тополь поднять – он легко вроснет на прежнее место. Яблони, истощенные созревaniem яблок, погибли мгновенно, а неплодоносное дерево оказалось более стойким; какой-то отвратительный закон жизни открылся Кириллу в этом.

В саду все было порушено. Пленка парников, которую кропотливо штопали, берегли, разлетелась лоскутьями. Снесло смородину, сливы, только мелкий, злой крыжовник уцелел, вцепился в колючие ветки. Грядки размыло, из земли торчали жалкие, детские тельца незрелой моркови, репы, свеклы. Огуречные плети были вбиты в грязь; младенческие – еще вчера

в серебристой испарине рождения, в нежном пушку, – маленькие огурцы плавали в грязных лужах.

Соседи не успели вчера снять белье с веревки. Теперь старое ситцевое платье с пунцовыми розами висит на заборе, детские распашонки белеют в траве, словно свидетельства отчаянного бегства: кто-то спасался во мраке, а по пятам неслась погоня, бесы ночи; взвихренный след этой погони еще читался в воздухе, ощущался ноздрями.

Только теперь Кирилл заметил, что в промытом после грозы, родниковом воздухе пахнет гарью; над деревней поднимался дымок дотлевающего пожарища.

Он понял, из какого места тянет дымом, чей дом сгорел.

Дом Старшины, недавно оставшийся без хозяина.

\* \* \*

Кирилл и десятилетия спустя помнил давно умершего старика так, будто вчера видел.

Был вокруг Старшины особый, запоминающийся ореол.

Хотя роста он был среднего, фигура ничем не примечательная, лицо обычное, ну рябое, так мало ли рябых; одежда слегка неопрятная – пуговица оторванная, манжеты на рубашке протертые, пятно на штанине, – так многие деревенские мужики ходили.

Но все в деревне и на дачах знали, что дважды представляли его к Герою и дважды не дали Золотой звезды. Орденами и медалями, что имелись в избытке, он не форсил, в коробке под верстаком держал; не показывал зазря никому – свое, кровное, – но и значения особого не придавал. Не звали его выступить перед пионерской дружиной и венок к обелиску над братской могилой возложить.

Только самые проницательные догадывались, что снедает Старшину лютая зависть к командирам, которые его кровью «Красные звезды» и «Красные знамена» получали, а еще Хмельницких и Суворовых, какие ему, младшему чину, по статуту не положены; ко всем, кто в досталь урвал славы и достатка от победного большого пирога, кто грузовиками да эшелонами домой добро немецкое гнал, а потом мемуары писал про славный боевой путь дивизии, что-нибудь вроде «Под гвардейским знаменем» или «Фронтowymi дорогами»; а он что – старшина, таких старшин миллион в землю лег.

В деревне этой Старшина родился, в войну служил в разведке, в родную деревню и вернулся. Поговаривали – глухо, тайком, – что *пошаливал* Старшина после войны, благо Москва близко, с такими же, как он сам, ухорезами. Но потом завязал, устроился сторожем на овощебазу; кормился от «левых» грузовиков – но это все слухи; бывало, милицейская машина стояла у его дома, начальник районной уголовки приезжал бутылку распить, такой же разведчик, на одном фронте воевали.

Конечно, уважала деревня Старшину за то, что ордена всем под нос не сует, но этого мало. В другом дело было. Скажем, рубит мужик топором дрова; мирная картина. А Старшина что ни возьми – топор, пилу, стамеску, нож кривой садовый, – другое значение в его руках железо приобретает; немирным оно становится, недобрым. Зубья пилы, лезвие топора, острие стамески, наевшиеся березы да осины, сытые лубом да корой, вдруг словно скалятся хищно, возникает в них жажда крови соленой, горячей, а не сока древесного невинного; это-то и чувствовали деревенские, потому-то и был Старшина Старшиной, с большой буквы.

Только ближняя соседка его Федосеевна, городская, на работу в деревню присланная, комсомолка бывшая, идейная, по-своему о Старшине судила. Вышла она до войны замуж за его соседа, тракториста-ударника; ударник тот в танке сгорел уже за Одером, когда счет «тигров» и «пантер» на последние десятки шел, – однако ж подловили его две «кошки» из засады, спалили весь взвод, пока они у канала оросительного тыркались, переправу искали.

Федосеевна траур по мужу носила так долго, как в деревне не принято. А потом завучем стала – преподавала она историю – и музей краеведческий при школе придумала создать, земляков опрашивать, как воевали они, что видели.

На этом у них размолвка со Старшиной и вышла. Прежде жили они ровно, здоровались по-соседски, Старшина ей даже парники ладить помогал, дело-то вдовье, он к этому строго относился. Уважал он ее по-своему за траур, за то, что верной покойнику двадцатипятилетнему осталась, дружку его детских игр, от которого только пепел да копать похоронная команда из танка выскребла. И черт же ее дернул с него-то свои расспросы и начать, да еще двух пионеров с собой привести, парня да девчонку, – беседу записывать.

– У мужа своего, покойника, спроси, – сказал Старшина Федосеевне в ответ на просьбу ее рассказать, какая она, война, чтобы детишек на примерах ветеранских воспитывать. И дверь закрыл.

Будь на ее месте мужчина, набил бы Старшина ему физиономию. И себе Старшина признаться не мог, что крепко задела его Федосеевна: ведь на самом деле он хотел бы душу задубелую исповедать. Получалось, поняла она его тайное желание, это Старшину и бесило. И нависала над этой размолвкой-ссорой тень беды, которой пока еще никто не видел.

Деревенские знали, что в июле, в день, когда Старшину ранило в битве на Курской дуге, он закрывает ставни в доме и пьет. Одни говорили, что снимает он со стены портрет Сталина, наливает стакан, ставит под самые усы и чокается с Вождем. А другие толковали, что берет его в этот день скверная обида за единственное ранение, вроде как не боевое – осколком мины шмат мяса с ягодицы срезало. Пил он в закрытом доме, полную мерку давней ненависти к врагу себе наливал; но не брала его, сердцем ожесточившегося, сивуха; а под вечер выходил на улицу, не шатаясь, твердым шагом – и начинал *немцев* искать.

Деревенские с пониманием относились, не сообщали, что война почти сорок лет назад кончилась. Говорили, что были-де немцы, но выбили их наши, соколики, аккурат тому неделя как, а сами на запад ушли, гарнизона не оставили, бо деревня-то невелика, всего один колодец. Подносили ему как герою-освободителю стакан самогона под яичко, вкрутую сваренное, и горбушку с солью крупитчатой, серой. Самая сила от нее, говорил Старшина, который белой, мелкой магазинной соли не признавал.

Дети по канавам и кустам прятались, бесплатное развлечение, а взрослые серьезно относились. Никто потом Старшине не пенял, что ходит он по деревне и народ будоражит. Однажды Старшина почтальона нового зашиб: племянник чей-то на лето устроился, раскатывал на велосипеде во френчике модном, на мундир немецкий издали похожем, вот Старшина и решил, что это немецкий связной заплутал, немцы-то на двух колесах часто ездили, да и велосипед был блестящий, ненашенский, откуда-то из Прибалтики. Старшина почтальона как «языка» взял, мозги ему сотряс основательно, но деревня его сторону приняла, и тетка племяннику строго настроенно заказала заявление в милицию писать.

Одной весной Федосеевне нового гусака привезли, то ли польского, то ли венгерского, – дальний ее родственник, что в соцстранах работал, порадовал старуху. Гусак и вправду был на племя хорош – белизны отличительной, будто у свежего зимнего снега взятой; клюв оранжевый ярче мандарина; тулово мощное, но не тяжелое, словно летать ему больше в пору, чем ходить; злой, свирепый, старого гусака забил, хоть моложе был и на вид слабее; в общем, исключительный гусь.

Федосеевна его Мартыном назвала – нахальное звучание имени понравилось, подходило оно гусю. Но Старшина гуся по-своему перекрестил. Вышел он в свой самогонный день на деревенскую улицу, а гусак ему дорогу заступил, зашипел. Старшина домашнюю скотину и птицу, зверей лесных за живое не считал; звали его свиней резать и палить, птицу бить, зайчишек в окрестных лесах он ради чистого смертоубийства постреливал, к друзьям фронтовым

в Сибирь ездил медведя брать с берлоги, а тут гусь какой-то. Но Старшина, пьяный до страшной трезвости, посмотрел на гуся и сказал с улыбкой нехорошей, с изумлением живодерским:

– Ну чистый фриц! Фрииииц! – И добавил, словно взглядом гуся ощипал, шею его длинную поласкал: – Ты подрасти, фриц! Подрасти! Вот тогда...

Гусак отступил – наверное, впервые в жизни, ни от собак он не бегал, ни от котов; замотал головой растерянно, но потом все-таки зашипел Старшине вослед, шею напряжнив.

Так появилось у гуся новое имя – Фриц. Мальчишки пересказали, бабки посудачили, и вся деревня стала так гуся звать в отместку за нрав задиристый и холеность чужеродную. Федосеевна посопротивлялась, но гусь сам стал кличку прежнюю забывать, мальчишки его дразнили: «Фриц, Фриц, снеси яиц!» – а он распался, но крыльями не хлопал, шею тянул и норовил цапнуть. Федосеевна поплакала – вроде украл сосед у нее гусака, в свою масть перекроил, а после привыкла, даже загордилась и сама стала гуся немецким считать, хотя он ни ГДР, ни ФРГ отродясь не видел.

Года через три это случилось, когда Фриц в силу вошел. Всякую мелкую тварь он к своей силе приучил, уже гусята у него подрастали – в отца характером, склочники, только колер его белоснежный им не передался, сероватыми все выходили; эх, видать, порченная порода, злорадствовали деревенские.

Кирилл в тот день все видел своими глазами; он с товарищами на песочной куче играл в саперов. Дороги в песке проложены, «вода» – как бы шофер немецкий – за веревочку грузовик игрушечный по ним ведет, а партизаны мины закопали, веревочки с палочками привязанными. Успел вовремя дернуть – палочка снизу в днище грузовик ударит, перевернет; не успел – песок во все стороны полетит, конвой немецкий дальше едет. Куча у пруда была, где дома Старшины и Федосеевны.

Выпил Старшина в тот день июльский, когда осколок немецкий ему, ползущему по-пластунски, зад распорол. Вышел за ворота, уставился на детей, и сразу расхотелось «воде» дальше грузовичок вести; подошел, осмотрел диспозицию, хмыкнул: партизаны хреновы, – и взгляд с одного на другого переводить стал. Не любил он детей, звал заморышами, но не трогал никогда. И впервые Кирилл заметил, какие у Старшины огромные руки, словно для великана роста двухметрового были сделаны, а Старшине их в госпитале пришили; увидел седой волчий волос, растущий на пальцах, толстые желтые ногти.

– Брысь отседова! – скомандовал Старшина. Все Кирилловы дружки деревенские порскнули вдоль забора, по канавам; а ему нужно было в другую сторону, на дачи, чуть замешкался он, а Старшина уже отвернулся; знал, что после его слов никого и ничего не останется.

Кирилл вжался в песочную кучу.

Старшина пошел к пруду; и снова Кирилл видел огромные ладони, которые не поместились бы, кажется, в карманы; не человечье что-то было в них, а бычье, медвежье.

Гусыни Федосеевны плавали в пруду; Фриц шагал по топкому берегу, охранял пробующих воду гусят. Увидев Старшину, гусь развернулся и пошел навстречу; зашипел, а потом глаза стали остервенелые, узнал он обидчика – Старшина, когда трезвый, часто его дразнил. Показалось – Старшина отступит, увернется, а то и побежит прочь, потому что пьяный с хитрым и вертким гусем не совладеет; злоба в нем, в Старшине, вялая, сопрелая, как соленый огурец прошлогодний; а гусак чистой ярости полон, будто давно ждал случая поквитаться.

Но Старшина, оказывается, только и ждал, что гусь бросится. Неуловимым движением руки, вдруг ставшей слишком длинной, телескопической, схватил гусака за шею и поднял в воздух, ладонь сжал, перекрыл кислород. Гусь затрепыхался, крыльями забил, весу в нем было килограмм пятнадцать – как такую тяжесть на вытянутой руке держать? Но Старшина держал, и Кирилл осознал, какая сила живет в стариковском теле, медленная, давящая сила, как у тисков; осознал, словно сам был тем гусем, сам чувствовал на шее стальные пальцы.

Гусь обмяк, кончики крыльев мелко подрагивали. Глаза, из которых ушло бешенство атаки, стали кроткими, начали закатываться; а Старшина левой ладонью погладил гуся по голове, приговаривая:

– Ну вот и все, Фриц. Попался ты. Все, Фриц, все. Не рыпайся. Хуже будет. Вот и все, Фриц. Пришло твоё время. Пришло.

Смотрел Старшина прямо в глаза гусю. И Кирилл понял, что не птицу видит Старшина сейчас, а ефрейтора какого-нибудь немецкого или кашевара тылового, которым понесчилось невовремя от блиндажа отойти. И важно, чтобы умер этот немчик тихо – проку от него нет для разведчиков, чином маловат, – не крикнул, не всхлипнул, и потому Старшина немчика в смерть *провожает*, слова шепчет почти ласково, чтобы не сбился тот на смертной дороге, не захотел на секундочку обратно вернуться, умирал послушно, безо всяких взбрыкиваний ненужных.

Кирилл хотел выбежать, вцепиться в руку Старшины, освободить гуся. Но чувствовал, что и его, мальчишку, Старшина примет за кого-то другого: он вообще не видит сейчас ни пруда, ни гусей, ни домов деревенских; он целиком там, на войне, в приднепровских болотах или в немецком городке каком-нибудь. И нет возможности вырвать его оттуда, ибо все смещено в его голове; и когда он увидит вместо тебя солдата из фольксштурма, он вправду так видеть будет; не смутно, как во сне обманном, а с последней ясностью – память его сама тебя переоденет, лицо изменит, фаустпатрон в руки даст.

Много Кирилл боялся, но так боялся в первый раз. Почувствовал, как обмочился. Царь страхов пришел в обличье Старшины, что душил гуся Фрица. Старшина по-настоящему верил, что убивает всамделишного немца; и ужас был в самой возможности этому произойти, ибо тогда нет ничему никаких основ, нет меж людьми никаких законов.

А Старшина двумя руками за шею Фрица взялся, сцепил пальцы – и голова гуся стала поворачиваться. Только сейчас Кирилл расслышал, что гусь кричит, не шипит, не гогочет, а именно кричит, и вопль его близок к человеческой речи, словно Фриц тщится объяснить убийце, что не солдат немецкий он, и мир призывает в свидетели. Но голова уже двигалась неестественно, так, как живое двигаться не может. Потом хрустнуло, оборвалась суровая ниточка жизни, голова упала на бок; зеленая утробная кашица потекла из клюва.

Старшина гуся на землю аккуратно опустил, постоял, на дохлую птицу пристально глядя. Потом обвел взглядом округу, увидел как бы наново остальных гусей, у пруда сгрудившихся, клекочущих тихо. Сын Фрица, второй по старшинству гусак в стае, согнал их вместе, а сам чуть впереди встал, чтобы и главенство обозначить, и Старшину лишней смелостью не раздражить.

Кирилл хотел крикнуть – летите, бегите, спасайтесь! – но язык отнялся. А Старшина с холодным воодушевлением пробормотал:

– Фрицы! Ууу, сколько вас! Фрицы! – и пошел к своему дому, только повторяя: – Уууу! Уууу! – словно ни человек, ни простой зверь лесной, словно глубокая, большая, как желудок динозавра, плотоядная бездна открылась в нем, и оттуда доносилось это: – Уууу!

Кирилл понадеялся, что Старшина уходит выпить еще стакан и можно будет загнать гусей в кусты, в камыш или кликнуть кого-нибудь из взрослых. Старшина в доме скрылся; Кирилл хотел бежать, но словно чутье солдатское у него появилось, подсказало: не спеши, не высывайся. И точно – вышел на крыльцо Старшина с карабином охотничьим, на котором прицел оптический стоял; у забора присел, ствол меж штaketин просунул, в прицел смотрит. Подумал Кирилл, что прицел приблизит гусей, наведет взгляд Старшины на резкость – оптика, стекло чистое, врать не умеет – и очнется тот, поймет, с кем воюет в жаркий июльский день, кто у пруда засел, шеи белые вытягивает; и вдруг заметил, что карманы штанов у Старшины топочатся, запасными патронами набиты.

Первый выстрел – словно бич пастуший хлестанул. Пуля у карабина остроносая, гуся насквозь пробила; выстрел, выстрел, выстрел – гуси падали, клочья перьев окровавленных

летели; Старшина не промахивался. Потом заело карабин, подвели все-таки пальцы, заплелись от самогонки, криво патрон вставили. Подергал он магазин и застыл – словно от сопротивления механизма безотказного и в нем самом что-то перекошило.

Федосеевна выбежала, к гусям кинулась; те валяются на траве, один крылом подергивает, промазал чуток Старшина. Крови не заметишь издали, но видно, что мертвые они; человек погибший может и в смерти живым быть, а птица лежит как куль, все пуля забрала – и грацию, и характер.

Старшина встал, повернулся – и посмотрел прямо на Кирилла, спрятавшегося за песчаной кучей. Кирилл хотел зарыться в песок, но понимал, что поздно – Старшина увидел его, увидел тем зрением, что превращает гусей в немцев. Кирилл опять почувствовал себя гусем Фрицем, ощутил руки на своей шее. И понял, что убьет его Старшина, ему нет разницы, что мальчишка, что гусь.

– Что ты наделал, ирод! Ирод! – Федосеевна налетела на Старшину, толкнула в грудь. – Ирод! Ирод! Ирод!

Ирод; это слово, не знакомое Кириллу, ударило Старшину, проникло в пьяную его голову. Может, запомнил он в детстве слова священника, ведь не Чапаевкой раньше деревня называлась, а Часовней, была в ней часовенка над ключом родниковым и церковь кирпичная, где теперь склад колхозный помещался.

Кирилл думал, что зашибет Старшина Федосеевну. Никому он не позволял к себе прикасаться, а она его за отвороты рубахи взяла. Но Старшина на бревна осел, замотал головой, а потом набок завалился. Федосеевна про гусей забыла, в дом побежала, несвежую нижнюю юбку стоптанными каблуками подбрасывая; вернулась с ведром и с размаху Старшину водой колодезной, ознобной, окатила.

Очнулся он. Люди из-за заборов глазели, но на улицу не показывались, поняв, что дело между двумя решится. Старшина рукавами мокрыми тряхнул брезгливо, огляделся, будто не понял, кто он и где; увидел Федосеевну с ведром и мирно, с недоумением только спросил:

– Сдурела, старая? Мой день сегодня. Выпить имею право.

Такой Старшина стал тихий, что Кирилл из-за кучи вылез, чтоб получше старика рассмотреть: где тот убийца, что три минуты назад в гусей стрелял? Сидит безобидный старик, на солнышке обсыхает, вроде как Кирилл дурной сон видел, который не повторится больше.

Но вдруг Кирилл понял: повторится. Будет другой день, такой же ясный, беды не предвещающий, и выйдет Старшина, от самогонки ополоумев, и кто б ему ни встретился – пес дворовый, теленок-сосунок, электрик с лестницей раскладной, – всякий будет *фашист*. И опять он, Кирилл, не успеет убежать, потому что другие ловчее, сметливее, смелее его, а он – тот, кто должен остаться Старшине на расправу, чувствовать себя гусем обреченным.

Кирилл возненавидел Старшину за это знание, которое теперь никогда не даст ему покоя; словно вся судьба наперед решилась.

А Старшина тем временем гусей побитых заметил. Помолчал, спросил у Федосеевны хмуро:

– Я?

– Ты, – ответила Федосеевна и заплакала вдруг, не так, как обычно плакала, слезами пресными, а навзрыд, горько и беспомощно; и младенец бы понял, что любит она Старшину.

Старшина икнул, раз, другой, третий, словно большие бесы уже оставили его, а теперь через рот полезли щекотные бесенятки, безвредные, но докучливые, как мухи; рыдать не прекращая, стукнула его Федосеевна по спине, прорыдала:

– Не ты, не ты это! Это война твоя проклятая в тебе сидит!

И Кирилл почувствовал, что простила Старшину Федосеевна, совсем простила – и простит еще десяток раз, пусть он хоть всю деревню спалит, всю животину безвинную перережет. И если бы Старшина его, Кирилла, застрелил, Федосеевна оплакала бы – но простила.

Старшину отпустила икота. Приобнял он Федосеевну, в дом к ней повел, но глаз при виде гусей убитых не опускал – дескать, моя вина, знаю, но виноватить себя не позволю.

\* \* \*

На следующую весну, когда Кирилла привезли на дачу, Старшины уже не было в живых. Говорили, пошел он зимой на охоту и погиб. Много снегу было, зайцы забор, сугробами заметенный, перемахивали, чтобы у яблонь молодые веточки погрызть. Под снегом Старшина и не заметил старый ход сообщения, с войны оставшийся, одной лыжей в него угодил, упал и ногу сломал; открытый перелом. Но не сдался, лыжи отцепил, пополз назад к деревне; стрелял из ружья, думал, услышит кто и поймет, что в беде он.

И дополз бы, но пурга сильная началась, перемело лыжню, сбился он со следа, заплутал. После пурги мороз ударил, выстудил лес; воздух промеж елей застыл, ни звука, ни шороха, все морозной хваткой сжато, только вода замерзшая в стволах расширяется, ломает изнутри стылую древесину.

Мороз сердце Старшины и остановил. Нашли его заоченелым, из леса вытаскивали на саночках, как дрова возят. Пошептывались в деревне, что ход-то сообщения был немецкий, и выходило, что немец, зимой сорок первого убитый, с того света Старшину за ногу схватил и за собой в погибель уволок.

О смерти Старшины Кирилл узнал случайно, разговор соседский услышал. Ему показалось, что мир стал просторней – словно почивший старик занимал в нем огромное, великанское место; словно зловещая туча с небосвода ушла.

Но пруд с гусями Кирилл стал обходить стороной, больше не играл на песочной куче. Гуси все так же паслись, новый гусак, отпрыск Фрица, стал вожаком, и Кирилла поражало, что гуси ничего не помнят, живут своей гусиной жизнью, для которой минувшее лето – где-то за горизонтом; нет памяти – нет страха. Он хотел научиться *не помнить*, заставлял себя забывать какую-нибудь мелочь, например что в воскресенье ели на завтрак, – и в отчаянии чувствовал, что память, наоборот, становится все более цепкой, глубокой, самовластной, будто Кирилл – лишь ее слуга. И он мечтал, чтобы у него была власть стирать дурные воспоминания, уничтожать вещи и места, которые напоминают о страхе.

Оттого Кирилл, догадавшись, что именно пустующий дом Старшины сгорел, и бежал во всю прыть – тропка водой залита, брызги летят, лягушки в стороны скачут, – крючок с калитки смахнул, цепь звякнула, собака из-за забора вслед пролаяла. Вот поворот, вот три сосны – уцелели в грозу, устояли; а вот...

Груда черных, страшных бревен; огонь уже погашен, но внизу, в кирпичях фундамента, в углях и золе, жив еще жар; грязный, вонючий пар поднимается над пепелищем.

Дом выгорел дотла. Кирилл догадывался, что, скорее всего, взорвался газовый баллон. Но чтобы дотла...

– Молния, молния ударила, – шептал кто-то. – Ровно в антенну.

Кирилл чувствовал, что люди не знают твердо, была ли на самом деле молния или соседям почудилось. Но люди уже верили; не случайный уголек выкатился из печи – молния, так выходило значительнее и жутче.

– Видишь, как Господь рассудил, – сказал кто-то из стариков, сказал без грусти, без сочувствия, словно признавая высший приговор.

И Кирилл стоял, не в силах поверить в случившееся. Федосеевна рыдала на руках у подруг, а он, хотя и знал, что стыдно это, нехорошо, – благодарил грозу и видел гусей, как ни в чем ни бывало пасущихся у пруда, и ему казалось, что одолели они вместе Старшину и страха точно не будет больше.

Но через неделю он с матерью ехал с дачи. На «Белорусской» в вагон метро вошел старик, одетый не по сезону тепло; наверное, ревматизм его мучил. Люди его заслонили, и Кирилл видел только руку – на фоне старой шинели и щегольских бурок белого войлока, полковничьих или генеральских, понизу лаковой кожей обшитых и швом тройным, фигурным, простроченных. И Кирилл узнал эту руку, неподвижную, как бы устало опущенную, но старой, матерой силы полную, силы, которая не в мясе – в самой кости, окаменевшей, древней.

Кириллу показалось, что это Старшина, он на самом деле жив – или ожил, приехал в город, сошел с электрички, пересел на метро; Кирилл в страхе спрятался за мать, стал смотреть украдкой: ему казалось, что Старшина явился за ним, его ищет.

Толпа схлынула, и Кирилл увидел, что старик – другой, ничуть на Старшину не похож. Старик вышел через две остановки, опираясь на палку и шаркая бурками; а у Кирилла перед глазами стояла его рука. И снова все вернулось:

– Ты подрасти, Фриц! Подрасти! Вот тогда...

И страх, и холод, и предчувствие обреченности – и обновленное знание, что есть меж людей Старшины, а есть гуси Фрицы, сводит их жизнь, ибо предназначены они друг другу, и ничего со смертью одного, дачного, Старшины не закончилось.

Так все окончательно сцепилось, уложилось в памяти. Когда шел дождь с грозой, с градом, – где бы он ни был – Кирилл вспоминал ту ночь на даче... ураган... падающие яблони... бабушку, стоящую у окна, охваченную страхом... запах гари со стороны деревни... опаленные потроха сгоревшего дома... Федосеевну и Старшину... кучу песка, за которой он прятался... мертвых гусей... голос Старшины: «Ты подрасти, Фриц, подрасти, вот тогда...»... огромные руки Старшины... И ему казалось, что все на свете – взрослые, а он остался ребенком, чувствующим свою незавершенность; что-то важное для достижения взрослости *вынул* из него Старшина, когда на его глазах убивал гусей, которых считал немецкими солдатами.

Ночь на даче... Ураган... Звук воды, отвесно падающей в дождевые бочки...

Он заснул – словно нырнул с водой в темный омут бочки, в кружение пены и сбитой ветром листвы.

\* \* \*

Кирилл проснулся рано, за окнами едва светало. Похмелья не было, только странная зыбкость, слабость в теле, будто прошлое выпило его силы сквозь узкую трубочку памяти. И тем отчетливее Кирилл ощущал, как что-то сдавливает правое запястье – будто каменная ладонь Старшины поймала и не отпускает.

Кирилл вытащил руку из-под одеяла, суеверно боясь увидеть отпечаток костяных пальцев мертвеца.

Нет, ничего. Это память. Память о наручниках.

Кирилл с бесстрастным удивлением понял, что вчера впервые за полгода не думал постоянно о том, что с ним произошло. Об аресте. О заключении, сменившемся подпиской о невыезде. Он уже не представлял себя без этих мыслей, привык без конца прокручивать в голове всю последовательность событий, судорожно прощупывать, проверять каждый стык – можно ли было поступить иначе, предугадать, избежать? А по дороге на дачу Кирилл забылся; он давно не был тут, дом помнил его еще свободным, и воздух в комнатах, запертых с осени, кисловатый простуженный воздух, пахнувший мышами, сушеным зверобоем, старым деревом, тоже был давний, прежний, как антикварная мебель в комнатах, черно-белые портреты родных; густой, будто колдовской настой забвения.

Но теперь мысли снова побежали по кругу. Майский день, митинг, тысячи человек; флаги, плакаты, наивное чувство победы, которому Кирилл поддался, хотя пошел на митинг как историк, чтобы увидеть в действии ту стихию, которую изучал; потом – полицейские, щиты,

шлемы, дубинки, десятки телефонов, снимающих людское месиво, чересполосицу ног, рук, дым от горящего фэйера, кого-то волокут, кто-то отбивается от полиции – и где-то среди тел и лиц не замеченный тогда зрачок видеокамеры в руках одетого в штатское оперативника; там, в зрачке, пойманный в линзу, мечется *уменьшенный*, оцифрованный Кирилл, словно пытается докричаться до себя-большого, предупредить об опасности.

Аэропорт, рейс из Берлина, странная задержка на паспортном контроле – пограничник долго листает паспорт; наконец Кирилла пропускают, и тут же подходит полицейский; «пройдемте» – и он идет, спрашивает, в чем дело, но уже идет... Допрос, дорога в СИЗО – темнота, ничего не помнит, будто внутри погасили свет; только едут, едут перед глазами чемоданы на ленте транспортера.

И снова митинг, лица, лица в зрачке камеры, из которых потом следователи будут выбирать обвиняемых, приписывая им сопротивление полиции; и снова мысли – почему выбрали его, по каким тайным причинам? Кирилл знал, что это случайность, но поверить в *чистую* случайность было еще страшнее, чем думать, что он где-то оступился, где-то неверно себя повел и лишь поэтому события повернулись так, как повернулись.

Он вновь ощутил то чувство, что преследовало его в СИЗО: что арест, заключение происходят не с ним, Кириллом, а с каким-то составляющим отдельную часть него Кириллом-внуком, Кириллом-правнуком; не с индивидуумом, а с единицей рода, наследником родового рока. Иногда Кириллу даже казалось, что это чувство спасительно, оно дает объяснение случившемуся, дает ответ на вопрос «почему».

Когда объявили, что он амнистирован, несообразно моменту Кирилл вспомнил, как однажды в детстве гулял один в лесу – и вдруг его охватил невыразимый страх. Ему казалось, что нечто огромное, бесплотное и слепое движется через лес, проницая собой деревья, и это огромное почуяло присутствие Кирилла внутри себя, как человек чувствует колкую еловую иголку, попавшую под рубашку; нечто остановилось и пытается *ощутить* его; сам прохладный лесной воздух, овевающий кожу, стал прикосновением этого существа. Секунда, две, три – и нечто продолжило движение, растворилось в лесу, оставив только память о касании и страх.

И при известии об амнистии Кирилл испытал что-то подобное; такое же слепое *нечто* коснулось его судьбы – и ушло; а он остался стоять, вслушиваясь в звуки леса.

Кирилл медленно прошелся по дому, заглянул в кабинет, где накануне вечером сидел у компьютера.

При свете дня кабинет выглядел иначе. Косые лучи освещали книги, снятые в библиотеках копии документов, папки, фотографии, карты – его труд, его замысел последних лет; десять раз перечитанные, пересмотренные, знакомые каждым загнутым уголком; все, что он сумел найти об истории семьи.

Но теперь благодаря ярким лучам солнца Кирилл чувствовал, что произошедшее с ним как бы иначе осветило прошлое, бросило на него новый, смещающий тени блик; и будто бы буквы, цифры, изображения под обложками очнулись, ощутили между собой новые, не бывшие прежде связи смыслов; сами собой сложились в книгу, которую он так долго хотел написать и не мог даже приступить к ней.

Многие годы он был в позиции автора, собирателя чужих жизней, обладающего ретроспективным прозрением в прошлое. Но, как и его герои – его предки, Кирилл был слеп в отношении будущего, нового будущего, не продлевающего, а упраздняющего нечто старое. И настал момент, когда он узнал все, что хотел узнать, был готов начать свою книгу; но именно в этот же момент он из автора стал *персонажем*; жизнь подхватила его текст и своенравно вписала новую главу.

Он еще не решил, уедет ли из страны, останется ли. Но теперь отчетливо ощутил, что путь в будущее лежит через книгу.

Здесь, в загородном доме, хранятся бумаги из семейных архивов разных лет, письма, дневники, фотографии, те материалы, что он собрал: документы, статьи, выписки; тысячи, тысячи страниц, рукописных и печатных, еще открытые, готовые говорить с ним, с Кириллом, связанные с ним сотнями нитей памяти, удерживающих единство замысла, хранящие в себе недопонятое, не увиденное, ждущее быть узанным и сослужить свою службу. И нужно пройти дорогой книги – от замысла, от самого детства, когда он впервые почувствовал свою особую связь с прошлым, – чтобы семейный рок отпустил его.

С чашкой кофе Кирилл вышел на крыльцо.

Глотнул кофе, прикурил сигарету. Ему предстояло совместить все сюжеты, факты, воспоминания чужие и свои, окружающие его, как галактика; галактика, берущая начало, распространяющаяся на четыре стороны света от одной-единственной вехи, соединяющей времена: старого, покрытого зеленым и черным мхом известнякового памятника на Немецком кладбище в Москве.

\* \* \*

В детстве раз в месяц, не реже, бабушка Лина говорила Кириллу: в субботу поедем на Немецкое кладбище.

Она загодя собирала сумку: совок, чтобы окапывать цветы, огрызок веника – вымести листву, коробочка с зубным порошком – протереть мраморную плиту, быстро темнеющую от сырости и прели. Дед предлагал поехать на машине, бабушка отказывалась; по каким-то внутренним причинам она предпочитала путь пешком от метро «Авиамоторная».

Дед, отец и мать ездили с ней редко. Но когда Кирилл пошел в школу, бабушка Лина стала ненавязчиво, будто стесняясь, просить его помочь, говорила, что с ним ей будет легче идти. Родители и дед не перечили, а сам Кирилл, хотя и чувствовал странность в том, что бабушка избрала в постоянные спутники именно его, скоро нашел в этих поездках таинственную притягательность ритуала.

И вот они шли по Авиамоторной улице мимо необычных домов послевоенной постройки: четырехэтажек с остроугольными крышами, неуловимо *немецких*, и Кириллу казалось, что это бывшая Немецкая слобода распространяет в округе свои флюиды, меняя архитектуру. Салатово-зеленые, крытые шифером, дома эти, по рассказам бабушки, раньше были белеными и крытыми черепицей.

Потом поворачивали налево, проходили мимо школы, ямы от бывшего пруда. Из-за густых тополей показывалась красно-лилово-бурая – такого цвета Кирилл больше нигде не видел, он казался ему нездешним, привезенным из-за границы, – высокая стена. В ней – три ряда неглубоких кирпичных ниш, похожих и на кресты, и на абстрактные человеческие фигуры; множества упокоенных душ. За стеной росли такие же деревья, но чуткое сердце уже приписывало им иное значение – это были клены и липы кладбища, смотрящие с высоты своих крон в темную бездну могил.

Еще поворот направо, по асфальтовой дорожке, и за лотками с искусственными цветами появлялись ворота: краснокирпичные, с пятью остроугольными башенками, с посеребренными шпилями, похожие на фасад кирхи.

Проходя через ворота, Кирилл вздрагивал. Город, где все ему было привычно, и старые особняки, и новые панельные дома, оставался снаружи, за кладбищенской оградой. За воротами открывалось пространство, к которому привыкнуть невозможно, словно неведомая сила перенесла издалека огромный кусок земли, прижились на нем московские травы, пустили корни московские клены, а все ж ощущаешь: это *чужая* земля.

Своя, но чужая. Чужая, но своя.

Беря пример со старших, Кирилл никогда никому не рассказывал, что их семейная могила на Немецком кладбище. Так было принято в семье; и Кирилл дорожил причастностью к непонятной ему тайне, похожей на проклятие.

Бабушка Лина никогда не вела его к могиле прямым и простым путем, по главной аллее. Они поворачивали то влево, то вправо, шли узкими дорожками среди обветшалых заколоченных склепов, покосившихся памятников с надписями на немецком, английском, французском. Иногда бабушка останавливалась перевести дух – дорожки карабкались по склонам холма над забранной в трубы речкой Синичкой, – словно отдавала дань памяти кому-то неведомому. Скоро Кирилл заметил, что останавливается она всегда в одних и тех же местах – то ли сил ее каждый раз хватало на одинаковые отрезки пути, то ли вправду она безмолвно поминала кого-то. Кирилл стал присматриваться к этим местам, но ничего не мог понять: черные, похожие на слитки темноты, добытые во мрачных глубинах ночи, диабазовые памятники хранили чужестранные имена, ничего не говорящие ему, и даже всей силой воображения он не мог связать эти имена с бабушкой.

Потом они приходили к низкой, вросшей в землю оградке; там среди папоротников стояла небольшая могильная плита серого мрамора: Софья Уксусова, 1884–1941. Это была могила прабабушки Кирилла, матери бабушки Лины. А справа и слева – тоже внутри оградки – выселись два известняковых монумента. Правый был похож на комод, на нем едва проступали полустертые, выеденные морозами, дождями и ветрами буквы готического шрифта. Левый был как алтарь; с каменной тумбы спадало каменное алтарное покрывало с кистями, поверх лежала вырезанная из камня раскрытая книга.

Кирилл не понимал церковных символов, в семье не молились и в церковь не ходили. Он лишь чувствовал тяжелую значительность каменной Книги и, когда бабушка Лина отворачивалась, смотрел украдкой: нет ли на каменных страницах букв? Кирилл знал, что нет, но почему-то верил, что буквы есть и однажды явятся.

Надпись же на правом обелиске Кирилл никогда вплотную не рассматривал; ему казалось, что те буквы отталкивают взгляд, не позволяют себя читать, словно тот, кто упокоен под камнем, замкнулся в своей смерти и ничего не хочет от мира живых.

Книга. Его глубоко волновала только каменная книга в назидательной простоте ее пустых страниц.

Кирилл чувствовал смутный вызов, исходящий от нее: имеющий право да прочтет. И он ходил с бабушкой на кладбище ради этой книги, как будто книга звала его к себе, о себе напоминала, в каком-то смысле растила – для себя.

А еще Кирилл не мог понять: почему прабабушка похоронена именно на Немецком кладбище? В чуждой земле? Кто и почему провел ее душу через иномирные врата с башенками?

Бабушка Лина отвечала: прадедушка работал в военном госпитале, что наискосок через дорогу от кладбища. Вся семья жила в госпитальном флигеле. Когда прабабушка Софья умерла, ее похоронили рядом с домом, там, где власти выделили кусок земли как бы *поверх* старых могил.

Объяснение было правдоподобным: среди старинных памятников часто попадались новые, советские – генералы и офицеры, умершие в госпитале, инженеры, профессора, артисты; русские, украинские, белорусские, еврейские фамилии смешивались с немецкими в многослойный спорящий палимпсест.

Кирилл верил объяснению, совершенно убедительному, – и все же верил не до конца; каменная Книга как будто подсказывала, намекала, что есть и другая правда. И Кирилл подсознательно ждал, что эта правда когда-то откроется: буквами на известняковых страницах.

Иногда на следующий день, в воскресенье, бабушка ездила еще и на Донское кладбище. Туда она не брала с собой Кирилла, и лишь изредка сопровождали ее родители. Это была просто «поездка на кладбище» – как бы ни к кому, так, провести время. Бабушка говорила, что

там похоронены друзья ее юности, но не называла кто; впрочем, на Донское она отправлялась нечасто. Лишь один раз, ранней осенью, она взяла с собой Кирилла; это был, кажется, восемьдесят второй год.

Они проехали на трамвае от «Шаболовской». Бабушка, обычно бережливая до скуповатости, купила большой букет красных гвоздик. Букет нес Кирилл. Он чувствовал тяжесть угасающих цветов, долго пивших мутную воду в магазинной вазе, отравленных этой водой, уже незримо начавших гнить; чувствовал, как слабеют позвонки стеблей, уходит их упругость, и ему казалось, что гвоздики вот-вот расползутся, вытекут из рук клейкой, похожей на скользкое лыко кашицей.

Они прошли прямо к крематорию. Кирилл издали заметил его: индустриальная машина смерти, модернистский павильон, увенчанный зловещей зубчатой башней. Скорбные фонари у двери, тяжелая грубая арка, ведущая в сумрак портика; конструкция, противоположная по облику и смыслу светлым, праздничным, украшенным колоннами и лепниной, цветами и снопами павильонам метро. Кирилл узнал его – мрачный вход в подземное царство, в *Метро мертвых*.

Это Метро мертвых Кирилл придумал сам.

Иногда какие-то здания в городе, ничем особо не примечательные, – заброшенный особняк, трансформаторная будка, поросший травкой горб бомбоубежища – бросали его в необъяснимую дрожь. Ему чудилось, что они – входы в потусторонний мир и соединены между собой темными подземными путями.

Наверное, Кирилл слышал слухи о секретных ветках метро, ведущих из Кремля на ближнюю сталинскую дачу, в тайные военные бункеры под Москвой.

В его сознании эти слухи превратились в образ другой, опрокинутой Москвы, куда можно попасть через мавзолей Ленина или другие, неприметные, *станции*; Москвы, где в призрачных вагонах по призрачным рельсам, проницая само вещество камня, вечно едут мертвецы, и вагоны эти очень старые, с пухлыми диванами, с желтыми панелями внутри, какие дослуживали свой срок на старых линиях.

Что за мертвецы, почему они обречены вечно скитаться под землей, в отличие от той же прабабушки, честно спящей в могиле, Кирилл не знал. Он редко вспоминал про Метро мертвых: только когда видел очередное странное здание, которое могло быть входом *туда*, или сталинскую высотку у Красных ворот, где на первом этаже сделан выход обычного метро, – и представлял точно такие же пирамидальные высотки, зеркально опрокинутые под землей, где живут – существуют – те, кто когда-то населял верхний мир, надземные этажи; дома с магазинами, где продают мертвую восковую еду, с окнами, распахнутыми в земные недра.

Крематорий на Донском показался Кириллу вторым после Мавзолея Ленина парадным входом в Метро мертвых. Вокруг толпились люди, сдавал задом кургузый желтый автобус, не специальный из морга, а обычный пассажирский, – наверное, кто-то из сослуживцев покойника договорился, «выбил» транспорт. В толпе стояли в основном мужчины; в нелепых костюмах, громоздящихся поверх фигуры, седые, лысоватые, мрачные и суетливые, не знающие, как лучше встать, как вести себя, словно на этот счет не существовало никаких инструкций и потому они чувствовали себя потерянными.

Проглатывая матерщину, шестеро с траурными повязками вытащили гроб через пассажирский вход; зацепившись за дверь, оторвалась алая витая лента. Служитель в синей спецовке отворил двери зала прощания.

Провожающие нестройно пошли внутрь – и с ними бабушка Лина. Она незаметно встала в очередь прощающихся и положила букет гвоздик в изножье гроба. Кирилл не понимал, что происходит, но бабушкина ладонь легла на его плечо: стой, смотри. Их букет вместе с другими цветами закрыли крышкой, и гроб по маленьким, игрушечным рельсам, подрагивая на неровностях, поехал внутрь крематория, за все двери, за стальные заслонки, в печь – в смерть.

После они гуляли по дорожкам кладбища. Кирилл, привыкший к тому, что бабушка – всегда бабушка, мякотка, бархотка, бархатная подушечка для иголок, мелькающие спицы, вяжущие шерстяной ласковый шарф, байковая, обшитая по краям, тряпочка – протирать очки из черепахового очечника, – вдруг ощутил, что привычная старость ее – отчасти напускная, что в ней существует другой человек, старый неведомой ему, мальчику, твердой, как слоновая кость, старостью, старостью упорных вещей, переживших войны, эвакуации, лишения, и не потому, что их берегли, спасали, увозили в чемоданах, узлах, – а потому, что в них изначально была способность уцелеть, не зависящая от усилий владельцев; способность противостоять рассеянию, не растрачиваясь в противостоянии.

А бабушка шла по дорожкам, будто разговаривала с кладбищем, со всеми могилами, деревьями, падающими листьями, стенами колумбария, церковью, домами за кладбищенской оградой, оплывшими башнями монастыря, отчужденно шумящими дорогами, уводящими прочь из города, к осенним редющим лесам, где зарождается смертный сон зимы, к мелеющим, утихающим рекам.

Кирилл чувствовал, что слова ее ищут кого-то, чей призрак мог мелькнуть здесь, на кладбище – и в сотне других мест; он шагал молча, отложив все вопросы, догадываясь, кому были отданы гвоздики, сгоревшие уже, ничего не добавившие к дыму, поднимавшемуся над крематорием.

Прадед Арсений. Тот, кого не было в могиле на Немецком кладбище. Он как бы *подразумевался* там, но отсутствовал; Кирилл знал только, что он был военным врачом и погиб на фронте. Могила затерялась в отчаянной суматохе отступлений, а когда спустя три года Красная армия, наступая на запад, пришла в эти места, некому было опознавать, где и кого хоронили: и рядовые, и офицеры ранних призывов были выбиты подчистую, все легли в землю.

Кириллу показалось, что бабушка, сжигая цветы в печи крематория, возносит заупокойную жертву пропавшему отцу, будто часть его души еще живет в воздухе и способна уловить этот горький дым. И – что поражало Кирилла потом, взрослым – он не нашел ничего удивительного или загадочного в ее поступке, так как всей предшествующей жизнью был приговорен изобретать не слишком правдоподобные, но тем не менее работающие, сопряженные с реальностью объяснения странным действиям взрослых, их непонятным ритуалам, их умолчаниям о прошлом.

Год за годом Кирилл ездил с бабушкой на Немецкое кладбище, год за годом – до подросткового возраста – ощущал чары каменной книги на каменном алтаре.

Бабушка Лина старела, теряла силы. Теперь он поливал цветы, сгребал листву, а она сидела на маленькой скамеечке чугунного литья, как раз для одного человека, пришедшего погрузиться о милых сердцу. Порой бабушка просила протереть оба известняковых монумента – когда пауки развешивали на них паутину или растаявший снег оставлял грязные разводы.

Выходило так, что Кирилл – по научению бабушки – ухаживал за осиротевшими памятниками, потерявшими своих *живых*. И все чаще она оставалась дома, а он ехал на кладбище один.

Иногда Кирилл и не заходил на семейный участок, просто гулял, глядя в лица статуй, усмехаясь тщеславным эпитафиям, серьезным фотографиям в овальных рамках – одним и тем же и для доски почета, и для могилы. Здешние *жители* уже не имели привычек советских людей, вышли из партии, не участвовали в демонстрациях на Первое мая и Седьмое ноября, не читали репортажи «Правды» об уборке урожая, не слушали речь генсека – и Кирилл отдыхал с ними, как с приятными необременительными соседями.

Немецкое кладбище стало частью его внутреннего ландшафта: он вспоминал его деревья, аллеи, памятники, когда в нем искали себе образов размышления о судьбе, истории, связи поколений, о любви, родстве, отчуждении, одиночестве.

Кирилл изучил историю кладбища – писаную и неписаную. На одном из склепов была мозаика: Харон везет душу на скалистый остров, поросший кипарисами. И кладбище казалось ему таким островом, с которым даже советская власть ничего не смогла поделаться. После путча, после распада Союза он подсознательно ждал чего-то подобного возвращению, *воскрешению* мертвцов – ибо кончилась загробная власть фараона, лежащего в гранитной пирамиде на Красной площади.

Однажды той осенью бабушка Лина сказала Кириллу, что завтра нужно ехать на кладбище, убрать листья. Листопад еще не закончился, но Кирилл не обратил внимания на эту деталь: накануне бабушка прихварывала, а если предложила ехать, значит, дела ее пошли на поправку.

Наутро они отправились привычным маршрутом, но у кладбища бабушка повела его к цветочному магазину, делившему пристройку с гранитной мастерской.

В семье Кирилла никогда не носили цветы на могилы, даже в дни поминовения. Изредка привозили с дачи, обернув во влажную тряпицу, букет полевых цветов – ромашек, лютиков, колокольчиков, иван-да-марьи. Неприятательный этот букет подчеркивал, что *нашим* мертвым ничего не нужно, они скромны в своих просьбах к живущим, не ждут ни роз, ни гиацинтов, ни хризантем; только ничтожные цветы полей, где они любили гулять при жизни, только робкие, недорослые соцветия, не знавшие ласки и ухода, которые вянут так же, как росли – не имея единичного достоинства и красоты.

Кирилл с бабушкой зашли в магазин. Гвоздики, тюльпаны – и розы, несколько сортов. Особенно хороши были одни, бордовые, крупные, свежие, с крупными крючковатыми шипами на стеблях, словно пришли они не из райского сада, где растения обитают в согласии, а из преисподней, где цветы сражаются друг с другом, рвут шипами чужие листья, запускают острый шип в сердце нерожденного бутона.

Бабушка, к удивлению Кирилла, выбрала именно эти розы – и купила весь букет, тридцать, сорок штук. А ведь розы она не привечала, если дарили – отставляла вазу подальше на подоконник. Ее любовью были фиолетовые ирисы, их она вышивала на подушках, словно переносила из давнего счастливого лета памяти.

Продавец перевязал розы бечевкой. Они двинулись сквозь немецкие ворота с острыми башенками, покрытыми серебряной чешуей, с простым чужим крестом без нижней диагональной поперечины; невеселые ворота красного кирпича.

Накануне в городе был ураган. Кладбище, средоточие покоя, преобразилось. В сплетении крон зияли прогалы, торчали меж могил сломанные стволы – ветер был так свиреп, что не валил, постепенно раскачивая, а одним ударом ломал деревья. Погнутые прутья оград, скорчившие металлические гримасы, опрокинутые тяжелыми ветвями памятники; кладбищенские рабочие пилят выворотень старого тополя, корнями выволокнувший из могилы истлевший гроб и кости мертвеца.

Кирилл никогда не опасался, что с могилами на кладбище может что-то произойти. Квартиру могли затопить соседи, дачу – сжечь молния. Но потемневшая мраморная плита, известняковый алтарь с Книгой – все события тут уже произошли, и длилось только вековое старение камня. Однако он почувствовал, что ураган – лишь эхо загробной бури; на день, на час – кладбище пробудилось.

Они прошли с бабушкой мимо часовни, исписанной суеверными пожеланиями взаимной любви и просьбами об удаче на экзаменах; мимо оплетенной кандалами могилы тюремного врача немца Гааза, мимо указателя «Нормандия – Неман» – к братской могиле французских летчиков из воевавшей с Люфтваффе истребительной эскадрильи, похороненных – то ли случайность, то ли ирония – рядом с огражденной пушечными стволами стелой над захоронением солдат Наполеона, умерших в московских госпиталях.

Наверное, неподалеку жгли упавшие ветви, но Кирилл воспринимал этот запах как дым истории, дым московского пожара 1812 года, после которого был отстроен новый город, куда и приезжали в XIX веке открывать дело или поступать на службу все те, кто покоится на кладбище: генералы, чья грудь увешана каменными орденами, шоколадные короли-фабриканты, похороненные под черными диабазовыми тумбами; инженеры, врачи, торговцы, священники, служившие в иноверческих церквях.

В советском детстве он воспринимал посмертные следы их бытия как тщетные символы давно ушедшего времени. А тут внезапно ощутил, что кладбище *живо*. Витиеватым шрифтом на немецком, французском, английском, на десятке других языков мертвые говорили, что родились в городке, которого, может быть, уже не существует или он принадлежит другой стране, и дома того нет, разрушен бомбой с «юнкерса» или «летающей крепости», снесен корабельной артиллерией, уничтожен гаубичными снарядами или ракетами «катюш», и церковный архив с актами о рождении сгорел, и последние родственники эмигрировали за океан, погибли в Освенциме, были депортированы в Сибирь, – мертвецы сокрылись тут, на случайно уцелевшем кладбище, как в ковчеге, и теперь свидетельствовали перед лицом Господа и о себе, и о несчастных погибших потомках, разбросанных по свету, лишенных надгробных камней, не присоединившихся к отцам, дедам и прадедам под сенью фамильного склепа.

Сиротство мертвых. Ошеломляющее, вопиющее сиротство мертвых увидел Кирилл, впервые осознав, сколько тут брошенных могил, на скольких памятниках последняя дата смерти начертана еще до революции – и все, обрыв, провал... Он вспомнил ничейный, заросший мхом могильный камень на их участке – чей он, чье имя на нем выбито?

Бабушка Лина шла медленно, опираясь на его руку. Он чувствовал грузность ее тела, шелестящие шумы, шорохи ее усталой крови, всхлипы легких. Вот он – груз существования, подумал Кирилл и впервые представил, что бабушка будет здесь, на кладбище, навсегда. Он мгновенно устыдился этой мысли – и догадался по ее взгляду, что она понимает, о чем он подумал, но не оскорблена; с ее *конца* жизни эта мысль выглядит иначе, чем с его.

У поворота с главной аллеи лежали грудой обломанные ветви клена. Листья, еще вчера свежие, начали подсыхать, превращаться в пергамент, их прожилки – сгибаться и костенеть, как птичьи лапки; листья пахли так остро, что казалось, с запахом отлетает их зеленое, легкое бытие.

На повороте бабушка пропустила Кирилла вперед – дорожка была слишком узка для двоих. Он пошел, припоминая, что прежде она всегда вела его; случайно ли теперь он первый?

Здесь, на дорожке, как в своем подъезде, он уже знал всех *соседей*. Слева – генерал-лейтенант, заслуженный артиллерист, имевший в советское время негласное право на роскошное, нетиповое надгробие – остроугольную плиту лабрадорита; справа – провизор немецкой аптеки Карл Готлиб Шульц и потомство его, в третьем поколении потерявшее немецкую фамилию; затем инженер-полковник Вотякин; англичанка – домашняя учительница, мэтресса в пансионе? – скончавшаяся в первый год нового XX века, напротив безымянный проржавевший крест, потом семейство Симпельсон, которых Кирилл помнил потому, что их дочка Радочка умерла в сорок первом одиннадцати месяцев от роду; крестьянские лица Семеновых, чьи имена выбиты поверх прежних немецких на старом обелиске; снова британец, «Зачем покинул ты родной Уэльс?» – написано так, словно это строчка из песни – а может, так оно и есть; заросшая сорной травой могила поляка Людвиковского – кто хоронил его в тридцать седьмом? – а дальше приветный куст бузины, родная, ушедшая в землю чугунная оградка с воротцами, с башенками на столбиках, с тяжелым засовом, который нужно смазывать маслом для швейной машинки, – пришли, пришли, пришли.

Он отпер воротца – раньше это тоже делала бабушка. Она села передохнуть на маленькую, горевательную, как она ее называла, скамеечку; Кирилл привычно вытащил веник.

– погоди, – сказала бабушка. – Не сейчас.

Она достала из сумки новую блестящую металлическую сеточку, какими драили посуду. Кирилл спохватился – а все ли с ней в порядке, зачем здесь нужна эта вещь? Что мы собираемся мыть?

А бабушка решительно встала, подошла к *чужому* памятнику, к известняковому монолиту, обрамленному по граням резьбой, похожому на увеличенные в размере старинные настенные часы. От дождей, пыли, грязи камень был дик, порос лишаем и мхом, покрылся зеленоватой патиной, и лишь с большим трудом можно было разобрать, что на нем вообще что-то написано.

Бабушка подошла к нему так, словно имела право, словно известняковый монумент ждал ее. Она уже не была привычной, знакомой бабушкой, матерью отца – а кем-то, кто состоит в связи с неведомым, кто супруга пропавшего без вести, сестра ночных пустошей, дочь Гражданской войны, внучка Цусимской катастрофы, правнучка освобождения крестьян.

Бабушка с усилием провела сеточкой по камню, раз, другой, третий; посыпался присохший лишай, мелкая известковая пыль. Под ее рукой, счищающей коросту времени, возникали ясные, твердо вбитые в камень буквы немецкого алфавита: Ba; Baltha; Balthasar; Balthasar Sc; Balthasar Schwe; Balthasar Schwerdt; 1805—1; 1807–1883.

BALTHASAR SCHWERDT  
1805–1883

Бабушка чуть отошла в сторону – деликатно, чтобы не затоптать папоротники на могилах, – посмотрела на монумент, будто сверяясь с памятью, а потом снова провела сеточкой по известняку ниже первой надписи, ближе к земле, где мох и лишайник гуще, грязь чернее; и снова под ее рукой за скрежетом металла о податливый мягкий камень стали возникать глубокие вмятые буквы.

CLOTHILDE SCHWERDT  
1818–1887  
ANDREAS SCHWERDT  
1856–1917

Бабушка глазами показала Кириллу – подойди; пропустила ближе к надгробию, положила руки на плечи, развернула грудью к памятнику, жестко удерживая, как в детстве, когда она вправляла ему осанку, – и не замечая, что делает больно, пальцы ее давят на плечи с нестарческой силой.

Казалось, огромная внутренняя энергия, что десятилетия держала под замком знание об именах в камне, теперь должна была быть выплеснута в одно мгновение – и бабушка Лина не знала, что с ней делать, не умела справиться и потому сжимала, сжимала плечи Кирилла, а он, будто впервые читая буквы латиницы, пробовал на вкус это шоркающее SCHW, не понимая, как верно прочесть.

– Швердт, – сказала бабушка. – Бальтазар Швердт. Так звали одного из волхвов. Каспар, Бальтазар, Мельхиор. Клотильда Швердт. Андреас Швердт. Ш-ве-р-дт, – повторила она, и Кириллу показалось, что эти звуки опьяняют ее нёбо, пузыряются шампанским в альвеолах. Ш-ве-р-дт – отверзается камень, приваленный ко входу в пещеру, и выходит воскресший в погребальных пеленах, тронутый тлением, но невредимый.

Бабушка Лина что-то прошептала по-немецки, словно хотела удостовериться, закрепить явившиеся буквы, не дать им исчезнуть.

Кирилл никогда не знал, что бабушка говорит по-немецки, и потрясение было таково, как если бы заговорил камень; а камень и вправду заговорил.

– Это твой пра-пра-прадед, – сказала бабушка, испытывая, кажется, странное удовольствие от повторения «пра-пра». – И пра-пра-прабабушка, и их сын. Господин и госпожа

Швердт. Schwerdt, – повторила она, но именно по-немецки, не по-русски, и Кирилл еще раз поразило совершенство ее произношения.

И только потом он понял, *что* сказала бабушка, как связала себя, его и безымянный прежде памятник.

BALTHASAR SCHWERDT  
CLOTHILDE SCHWERDT  
ANDREAS SCHWERDT —

навсегда, на всю жизнь, до самой смерти, которая случится здесь же, под этими деревьями, в этой земле.

– Дай мне цветы, пожалуйста, – сказала бабушка Лина.

Теперь Кирилл понял, почему она выбрала именно эти розы. Торжествующие, умением селекционера лишённые знания о неизбежной смерти, которое живет в покорных, несмелых линиях простых цветов; и не ирисы из летнего сада памяти, а победительные розы, знаменующие не ностальгию, а триумф, викторию, одержанную над забвением.

Кирилл достал перочинный нож, чтобы разрезать бечевку на розах. Лезвие соскочило, чиркнуло по указательному пальцу, из ранки выступила капля крови. Кирилл завороченно смотрел на кровь – впервые не просто физиологическую субстанцию, алую, невинную влагу тела, а средоточие темных тайн. Раньше его кровь была его кровью, на которую иногда имеют право медсестры, набирающие ее в шприц; а теперь стала словно чужой, текущей в его жилах, но не до конца принадлежащей ему.

Кровь вдруг предстала как смесь, микстура кровей, несущих разное наследство, разный заряд судьбы, вскипающих от соприкосновения, вечно ссорящихся в споре за главенство. И вся его жизнь, неустойчивая, разнонаправленная, не знающая, куда себя приложить, полная суеты, бесталанного времени, вдруг получила объяснение в этом споре кровей.

Стоя у могильной ограды, он увидел каменную книгу на алтаре, ту, от которой ребенком ждал чуда, верил, что однажды на пустых страницах проступят буквы. В детстве он считал ее единственной в мире; теперь понимал, что это жанровый памятник, на кладбище есть точно такие же, с каменным алтарным покрывалом и витыми шнурами по углам. Но, по удивительной случайности или упущению, страницы других книг были с назидательными надписями, например «Придите ко мне все нуждающиеся в покое» или «В поте лица твоего будешь есть хлеб, пока не возвратишься в землю». А *их*, его книга – одна! – была пуста.

И уже не детским, а взрослым трудным чувством Кирилл уловил, что наитие ребенка было верным: эту книгу, открывающую тайну фамилии Швердт, собирающую, созывающую всех, кто лежит здесь, на Немецком кладбище – и в землях разных стран, кто ушел на дно морское, кто рассеян с дымом, о ком ничего не ведают даже мертвые, ибо он не явился на загробный пир, – предстоит писать ему.

Отведя глаза от каменной книги, Кирилл вдруг увидел кладбище новым взглядом. Оказалось, прежде он смотрел поверхностно, замечал, оставлял в памяти формы и цвета: деревья, аллеи, склепы, обелиски, цветы, кресты. Теперь же, будто бабушка стерла патину, серый мох со всего пространства, придала взгляду Кирилла резкость и глубину, он стал различать то, во что никогда не вглядывался раньше. Кладбище попыталось заговорить с ним, обнаружив все свои скрытые символы. Они были всюду, смотрели из тени, из-за ветвей, с монументов.

Первым он заметил масонский треугольник со Всевидящим оком, оком Бога, помещенный в центр каменного солнца с остроугольными, похожими на старинные мечи, лучами; заросшее рыжеватым мхом, покрытое зеленоватой ряской, Око – не больше ладони размером – пряталось под рельефной аркой памятника, скрывающей его в тени.

Кирилл вздрогнул: ему показалось, что каменный зрачок действительно смотрит на него. И, встретив взгляд-из-камня, он стал различать иные знаки, разбросанные вокруг.

Звезды, вписанные в круг; звезды барельефные и горельефные; кресты готические, романские и кельтские, выбитые в камне; кресты, перевитые тканью с лентами; кресты, перевитые лозой; колосья, снопы пшеницы и грозди винограда; листья дуба и листья клевера; цепи; медальоны с ангельскими крыльями; листовые и цветочные орнаменты; мраморные венки, где различим каждый цветок – вот ромашка, вот роза, вот колокольчик; трезубые якоря, подвешенные к венкам; амфоры, сосуды скорби, утончающиеся книзу и перевитые лентами на узком горле; величавые кубки; шестиугольные звезды, вписанные в венки; лавровые ветви, масличные ветви, пальмовые ветви – тоже перевитые лентами у чисто срезанного черенка; цветные мозаики – синие квадраты, зеленые ромбы, черные треугольники, синие треугольники; скрещенные мечи и скрещенные ятаганы; львы рычащие и львы спящие; распростершие крылья орлы; плывущие рыбы; молоты, топоры и кирки; переплетающиеся кольца, стрелы, колчаны, летучие мыши; иные знаки, чей смысл Кирилл не мог разобрать.

Кирилл понял, что для него все эти символы так же далеки, как египетские иероглифы или шумерская клинопись; он *нем* для этого языка, он может назвать его знаки – крест, перевитый лозой, лист клевера, амфора, скрещенные мечи, – но не знает, *что* они означают. Он впервые видел кладбище глазами бабушки, для которой, как он догадался, эти образы были естественной частью жизни, но для него, родившегося в Советском Союзе, знавшего только красные звезды, серпы и молоты, они – предыдущие, старшие – были мертвы.

Он понимал советские символы; читая надгробную надпись: «Первый зам. министра среднего машиностроения», умел расшифровать зловещую абракадабру МИНСРЕДМАШ, обозначающую на языке государственных тайн ведомство, ответственное за атомный проект СССР, или взвесить на весах иерархии какого-нибудь генерал-лейтенанта – по его орденам, выбитым в камне; но, даже прочитав Библию, не мог сказать, что означает увитый лозой крест, не мог принять его в сердце.

Бабушка подарила ему не только неожиданных предков. Перед ним открылся мир иной культуры, молчаливый, но живой, мир, к которому он принадлежал по долгу наследства, по праву бешеной, неутомимой крови, в которой текут все времена и звездное небо. И Кириллу предстояло выучить этот старый язык, заговорить на нем, ибо он был дорогой в прошлое, туда, где на бледных лугах асфodelей бродили тени Бальтазара Швердта и Клотильды Швердт.

Бабушка смотрела на Кирилла с пытливым ожиданием: поспешит ли с вопросами? Упрекнет ли в молчании? И он, хотя слова уже готовы были сорваться с языка, промолчал, поняв, что не только бабушка оценивает его сейчас – Око Бога и десятки других незримых глаз. Тот ли? Справится ли? И он с внезапной твердостью пообещал себе, что справится, – последний из рода, знающий теперь, зачем родился на свет, к чему предуготовливалась его жизнь, посылая знаки, расставляя ловчие сети.

Бабушка показала, что пора уходить; Кирилл закрыл чугунные ворота, оглянулся на букет роз, багровеющий у подножья памятника, еще полчаса назад бывшего просто глыбой камня, а теперь ставшего осью мира, точкой отсчета.

Бабушка пошла по тропинкам, которыми она водила Кирилла в детстве, как бы невзначай останавливаясь в нескольких местах. Кирилл теперь догадывался, что каждая остановка и вправду что-то значила, что-то отмечала. Кладбище превращалось в загадочный лабиринт, в призрачный светский раут, будто все, с кем были родственны, дружны или знакомы Бальтазар и Клотильда Швердт, с кем встречались они в московском кругу, – тоже лежащие здесь, – очнулись, потянулись к живому, спустившемуся в их царство.

Покинувши недра Эреба,  
К яме слетелись души людей, распрощавшихся с жизнью.  
Женщины, юноши, старцы, немало выдавшие горя,  
Нежные девушки, горе познавшие только впервые,

Множество павших в жестоких сраженьях мужей, в нанесенных  
Острыми копьями ранах, в пробитых кровавых доспехах.  
Все это множество мертвых слетелось на кровь отовсюду, —

вспомнил Кирилл. Абсолютная память на тексты, его университетский навык, курс греческой и римской литературы, зачет по «Илиаде» и «Одиссее», он вытащил неинтересный билет и рассказывает вместо него о метафизической топографии Гомера, о том, как герои, погибая, перемещаются из верхнего мира в нижний, и можно представить повествование, где встречаются во второй раз убившие друг друга, предавшие, отравившие, обесчестившие, — и встреча эта вечна, ибо только вечность у них впереди, но вечность без христианских мук.

Тогда он лишь чувствовал дивную легкость памяти, остроту мысли. А теперь впервые подумал, сколько же его предки учили Гомера на разных языках, оттачивая навыки, которые достанутся ему в наследство; сколько уповали на будущее, молились о нем, жили ради него, отринув и прошлое, и настоящее, — и вот Кирилл и есть это будущее. Тот, на ком все замкнуто, все сошлось, к кому ведут все провода.

Бабушка остановилась. Узкая дорожка, густая влажная тень. Похожее на трон надгробие серого гранита: высокая стела — как спинка; слева и справа, как подлокотники, увенчанные бронзовыми вазами гранитные блоки. Четыре ступени ведут к площадке перед стелой, усыпанной сухими веточками и листьями. А на самом верху стелы — ниша, откуда смотрит бронзовое лицо, лицо короля Темных веков, ведущего родословную от варварских вождей, поклонявшихся огню и омеле. Густые бронзовые кудри, зачесанные назад, дремучие усы, в которых можно спрятать пару маркграфств, сытый подбородок, неандертальские, дикарские уши, ловящие звук охоты и рев зверя; узко прищуренные глаза, смотрящие в неустроенное пространство с мыслью о мостах, дорогах, войсках, послых из чуждых стран; монументальный, горою, нос, изрытый оспинами металла, чующий запах сражений и запах золота; бугристая равнина лба, губы, готовые высосать мозговой сок из кости, — и странной, нелепой деталью бронзовая манишка с галстуком, охватывающие широкую, как древесный ствол, шею. Тевтон, лесной владыка в манишке, покоритель Рима, повелитель, чьи статуи легко представить стоящими по всей стране, конные, пешие, с мечом или скипетром, укрощающим льва или указующим путь за океан, в страну Эльдорадо (Кириллу даже показалось, что он мог бы представить его на месте Ленина), — поверженный бог, чья кумирня забыта, чьи адепты рассеяны, но здесь, в святилище, еще живет отзвук давней веры.

Никогда Кирилл не встречал более чуждого себе человека. И не случайно он не замечал этого надгробия во время их прогулок с бабушкой — так не замечают слишком роскошный автомобиль именно потому, что он не из твоего мира.

GUSTAV SCHMIDT  
1839–1915

Шмидт... Кирилл внутренне перевел дух, его внимание было сконцентрировано на фамилии Швердт, ее он искал, ее ожидал встретить. А тут Шмидт, какой-то чужой Шмидт, судя по надгробию — богач и миллионщик, раблезианский персонаж, съедающий десять перепелок, герой душещипательных производственных романов начала века, властелин фабрик, где трудились прикованные к горну и печи бедолаги. Наверное, бабушка знает о нем какую-то историю, подумал Кирилл. Он не мог представить себя в родстве с кем-либо *владеющим* больше чем квартирой, простым загородным домом, машиной, десятитысячным вкладом в сберкассе.

— Никогда не понимала, зачем лицо сделали бронзовым, — сказала бабушка. — Он же был Железный Густав. Эти похороны я не застала, я была с папой на фронте. Но самого Густава помню. Тебе он пра-пра-дедушка. Это отец моей мамы, жены Андреаса. В девичестве ее звали Елизавета Шмидт, а потом она стала Елизаветой Швердт... Я бы сделала барельеф из стали.

Кирилл смотрел в бронзовое лицо, ошеломленно ища хоть какие-то черты сходства и родства. Перевел взгляд на бабушку. Снова на памятник. Ни-че-го. Потом он понял: сколь ни своевольна *порода*, с какой силой ни проявляется она, ее все равно можно скрыть, проводя своего рода естественный отбор, селекционерскую работу над самим собой. В советское время его ближайшие предки жили, изгоняя из себя наследство Шмидта, боясь быть *его* внуками, и, видимо, преуспели в этом самооскоплении; отказались от первобытной мощи, от таланта владеть и управлять, поскольку им некуда было пойти с этим талантом, разве что сделать карьеру советского управленца, генерала-директора, владыки гигантской стройки, завода, канала, а то и целого края; но, слава богу, на такую роль они не прельстились, ибо тогда Кириллу достались бы совсем иные грехи предков.

– Я показала тебе все, – сказала бабушка Лина. – Тут есть еще могилы тех, кого я знала, но это потом.

Кирилл не знал, что ответить. Внезапно ему захотелось, чтобы время открутилось назад, чтобы машина сломалась и они не доехали сегодня до кладбища.

Раньше он был охранен невинностью незнания, а теперь над его судьбой стали властны все те же силы, что владели судьбами предков. Кирилл не мог достоверно знать, что это за силы, каковы их суть и природа, но ощущал, что они подобны грозе, бушующей за стенами, прорезающей небо молниями, гонящей путников на ночных дорогах, обугливающей до корней стволы старых дубов; не имевшей прежде входа в *дом* его жизни – и вдруг его получившей: случайно открыли форточку, может влететь шаровая молния – и испепелить *все*.

Гроза. Гроза. Шум воды, отвесно падающей с крыши в дождевые бочки. Свежесть и холод слезящихся стекол. Сникшая трава. Небесный сахар града, падающий в забытые на улице чашки и стаканы, звякающий, тающий, исчезающий. Безумие мятущихся крон, фиолетовые разрезы молний, слепящие зрачки, заставляющие зрение обратиться внутрь, в испуганные потемки души.

Это воспоминание было отзвуком урагана, пронесшегося над кладбищем, оставшегося в сломленных ветвях, упавших оградах. Слабым толчком изнутри памяти пришел отклик: запах горелого дерева, упавшие яблони, зеленые яблоки, ударившие в траву, как крупная шрапнель; бабушка, ее смертный страх, шаровой отсвет свечи в дрожащих стеклах...

– Пойдем, – сказала бабушка. – Пора уже. Солнце заходит.

Кирилл посмотрел на небо. Солнце, конечно, уже продвинулось за полдень, но было еще высоко в небе. И он понял, что они с бабушкой живут с разной скоростью, ее время течет гораздо быстрее, ее внутреннее солнце уже клонится к закату, клонится давно, и уже почти закатилось, и именно его видит она сейчас, его закатным светом освещена, скудными лучами тронута, но не согрета.

Те, кого нет на кладбище, кто нигде не получил надгробия, кто лишь призрачной нитью бабушкиной памяти связан с *именными* монументами, – бабушка была с ними сейчас, их видела, с ними вела разговор.

– Завтра съездим на Донское, – сказала бабушка.

Кирилл уже не мог удивляться и согласно кивнул. Они вышли на главную аллею, прошли через кладбищенские ворота, под скорбным ликом Богоматери, изображенным на них, – и шум улицы, воробьиное чириканье, дальние удары мяча, звон трамвая, прыжки через скакалку, лай собак, обрывки разговоров, звук моторов, дробь отбойного молотка, цоканье каблучков – все раскатилось, как мелочь из прохудившегося кармана, оглушило, окружило гомоном и стрекотом, расплосовало покровы тишины – будто они и вправду вышли на свет из царства мертвых.

Кирилл завел машину и представил, как бабушка, маленькая девочка, уезжала отсюда в конном экипаже, сильные лошади тронули слаженно, с охоткой взяли под горку, и мостовая звучала под копытами вместо асфальта. Маленькая девочка, закутанная в меха, – почему-то

Кириллу виделась лисья шуба, – любимица покойных, еще дочь, еще сестра, внучка, правнучка и племянница, крестная; еще не знающая, что железный ветер вскоре унесет всех старших и близких и она останется один на один с веком.

Дома бабушка Лина никак не показала перед родителями Кирилла, *что* она рассказала на кладбище. Он догадался, что бабушка хочет дать ему время освоиться с новым, ошеломительным знанием, пережить его без общих разговоров и обсуждений; к своему удивлению, Кирилл осознал, что и не хочет делиться узанным, – будто знание это принадлежало им всем, но судьбинно относилось только к нему одному.

Наутро они вдвоем отправились на Донское. Шел мелкий дождик, звенели на бульваре трамваи, у магазина «Рыболов» старики на складных стульчиках продавали мотыля. Все это – и дождь, и мотыль – было такое мелкое, незначительное, будто бы нужное лишь немногим людям в городе, что Кирилл перенял это ощущение, и поездка – после вчерашнего ошеломительного открытия – стала казаться ему частностью, ненужной тавтологией: тот же охряно-красный кирпич кладбищенских стен, те же поблекшие пластмассовые цветы...

Кирилл знал, что на Донском не будет той густоты символов, что поразила его на Немецком, там не водятся львы и грифоны, не растет каменная лоза и не смотрит из глубины камня заключенное в масонский треугольник Око Бога. Ему мнилось, что бабушка повторяет их давнюю прогулку, хочет поставить избыточную, в общем-то, точку; а он ждал ее рассказа, откровения об истории семейства Швердт, и досадовал, вел машину чуть резче, чем следовало, но бабушка не обращала на это внимания, и постепенно Кирилл проникся ее скрытым, но твердым намерением.

Они вошли на кладбище. Тут были русские имена; старые могилы дворян, сановников, артистов – но в них не чувствовалось тайны, взгляд ровно скользил по плитам, с лету узнавая родной язык, знакомые образы.

Дождь пропустил сильнее; вокруг было так много полированного камня, что звук дождя выходил странно сухим, будто тысячи кузнечиков-барабанщиков ударили палочками по слюдяным барабанам; звук напоминал приливы траурного марша, усиливался, стихал, вступал ветровым порывом. Внезапно Кирилл почувствовал, что внутри в такт занимается колкая дрожь; звук, почудилось, теперь идет снизу, из-под земли.

Он вспомнил Метро мертвых, выдуманное в детстве; когда бабушка ребенком привела его на Донское, он «опознал» здание крематория как вход в это метро. И теперь ему показалось, что он слышит, как покойники мерно колотят в крышки гробов, требуя правды и возмездия. Это уже не дождь шумит, падающий с неба, а глухой стук костей доносится из-под земли. Он размягчает почву, предуготовляя оползни, разгоняет крыс, проникает фундаменты, выворачивает брусчатку. Его уносит вода подземных рек, заключенных в трубы, он перетекает в рельсы и провода, он заставляет вибрировать Шуховскую башню – и срывается с ее верхушки, летит до Уральских гор, до сибирских болот, до края материка, обрывающегося в Охотское море и Ледовитый океан у Магадана и Певека.

Кирилл чувствовал, что болен, что сходит с ума, – и все же переживал этот стук с необыкновенной ясностью; словно мир открылся ему ирреальной, но *действительно* существующей стороной; и ему казалось, что бабушка тоже слышит звук, знает о нем.

Он хотел раскрыть зонтик, но бабушка остановила его. Она всегда была подчеркнута опрятна, аккуратна, не терпела сырости и грязи, словно в них ей чудился призрак лет нищеты, когда негде найти приют, обсушиться, достать новое платье или ботинки взамен испорченных. Но сейчас бабушка не хотела иметь защиты, препон, отделяющих ее от голоса мертвых, притворяющегося дождем.

Они прошли за крематорий, повернули налево – Кирилл смутно помнил эту дорогу, – потом снова налево, туда, где за кронами высились разрушающиеся башни старого монастыря, и остановились на перекрестке кладбищенских аллей, у гранитной клумбы, где росли невзрач-

ные, самосевом угнездившиеся цветы. Клумба словно обозначала какое-то недовершенное намерение: то ли хотели поставить фонтанчик с водой, то ли соорудить павильон, где можно отдохнуть; а в результате сделали клумбу – просто чтобы заполнить пустоту.

– Где-то здесь папа, – тихо, печально сказала бабушка, смотря прямо на клумбу.

Кирилл не понял, о каком папе говорит бабушка. О своем? О прадеде Арсении? Он погиб на войне и похоронен на поле боя. Где-то там, в воображаемом пейзаже, где лесок и речка, нива и деревня; где кружит ястреб, взмывая в потоках жаркого воздуха, а зимой лисица выходит мышковать, ловить серых-маленьких, подьедающих оставшиеся с жатвы зерна.

– Он здесь, – сказала бабушка. – В могиле неопознанных прахов. Я узнала лишь много лет спустя. У нас на работе был куратор от КГБ. В большом чине. Он служил еще в тридцатые. И уцелел. И вот он, – бабушка запнулась, подбирая слова, – он знал, что я наполовину немка, хотя я взяла фамилию Кости. Это все было в анкетах. И он... – бабушка запнулась снова, – ему доставляло удовольствие со мной играть. Однажды он сказал, что знает, где мой отец. Прошло двадцать лет, как папу арестовали. А я все верила. Верила, что, может, он где-то, откуда нельзя подать весточки. Лечит людей. А этот полковник сказал, что папа на Донском. Расстреливали в тюрьмах. Сюда свозили тела. Жгли в крематории. И хоронили здесь. Где-то тут, – бабушка глубоко вдохнула. – Под этой клумбой.

Кирилл вспомнил их детский приезд сюда, цветы, которые бабушка подложила в чужой гроб, чтобы они сгорели в печи, рассеялись с дымом по округе. Бабушка сначала лгала своему сыну, рассказывая легенду о пропавшем без вести дедушке, чтобы тот не задавал ненужных вопросов, жил без тени за спиной; потом ложь досталась в наследство ему, внуку. Открывшийся обман разделил их, разорвал установившиеся с детства нити взаимности. Но Кирилл чувствовал, что бабушка Лина ничего больше не скрывает, она измучилась жить в молчании.

Кирилл обнял ее, зашептал: бабушка, бабушка, – желая только, чтобы она поняла, как он ее любит и не осудит. Он ощутил, как сидит в ней, будто отравленный осколок, давний страх быть обвиненной, разоблаченной, в мгновение потерять все, страх, обкрадывающий неделю на день, отнимающий вкус у питья и свечение у света.

Теперь Кирилл понимал, почему на Донское они не взяли цветов, – любые цветы были бы слишком выпячены здесь, перед пустой клумбой, скрывающей прах тысяч человек. Где-то там, в немыслимом смещении атомов, было то, что осталось от прадеда Арсения, человека в военной фуражке с красной звездой на кокарде, смотрящего с домашней фотографии. Прадед уже был неотделим от других сожженных, утрамбованных.

И все же Кирилл чувствовал, что судьба может существовать как бы отдельно от того, кто был жив ею, судьба может длиться и за смертью.

Быть тайно расстрелянным, тайно сожженным и брошенным в общую яму означает не умереть, а погрузиться в Метро мертвых, в подземелья призраков, скитающихся душ, лишенных похорон, лишенных той смерти, что происходит в сердцах живущих, в открытом обряде прощания. И в этом смысле судьба прадеда Арсения еще не была свершена; ему, Кириллу, предстояло доверить ее.

– Швердт, – внезапно сказала бабушка. – Меня звали Каролина Швердт, пока я не вышла за Константина.

Кирилл понял, что она – не Лина Веснянская, какой он знал ее, чью фамилию – Веснянский – привычно носил сам; а именно Каролина Швердт, взявшая фамилию мужа, как ради спасения, ради побега надевают чужую, меняющую до неузнаваемости облик, одежду. Каролина, отбросившая «Каро», ставшая просто Линой, чтобы имя звучало по-русски.

– Швердт, – повторила бабушка. – Швердт. Раньше я старалась не произносить эту фамилию даже про себя. Из-за нее все погибли. Папа. Мама. Сестры. Братья. Густав с Андреасом. Все. Когда в сорок пятом я стала Веснянской, поменяла документы, – бабушка провела ладо-

нями по лицу, будто отбрасывала несуществующую вуаль, – я поклялась, что никогда больше не скажу *Швердт*. Буду помнить их только по именам.

Я много лет не приезжала на кладбище, боялась, что кто-то увидит меня у могилы, кто-то поймет, что я Швердт, а не Веснянская. Много лет... Могила заросла. После войны за кладбищем не ухаживали. Ночью в склепах собирались бандиты, днем шпана. Люди боялись туда ходить. И мне хотелось, чтобы так было всегда. Чтобы памятник провалился сквозь землю. Чтобы надпись Швердт на нем исчезла.

Потом все-таки стала приезжать. Как воровка. Пораньше утром. Или вечером, когда никого нет. В самую непогоду, в дождь, снег. Чтобы никто не увидел. Шла по главной аллее так, будто просто срезаю путь к Госпитальному валу.

И другие женщины приходили. Тоже в ненастье. С одной мы столкнулись у колонки, обе подошли воды набрать. Я заметила, куда она потом пошла: к старой могиле полковника императорской армии, немца. А она за мной наблюдала исподтишка.

Бабушка замолчала.

– Все погибли по-разному, – сказала она просто. – Может быть, погибли бы в любом случае. Я не знаю. Это пустая игра ума. А факт, факт... Факт в том, что погибли именно потому, что носили фамилию Швердт. Она была камнем, который тянул на дно. Доказательством, которого не нужно придумывать. Поводом, чтобы не спасать. Оправданием предательства: чего немцев жалеть.

Бабушка снова замолчала. Кирилл смотрел на клумбу, на мелкую беспризорную травку. Он заслонялся от бабушки, внезапно ставшей Каролиной, а не Линой, как бы слушая все еще Лину, а не Каролину; сам перед собой притворялся, что бабушка говорит о чьем-то чужом, не ее, прошлом, ужасном, тревожащем, обязывающем откликнуться, но все-таки не неизбежном, не единственном, какое есть; о прошлом, которое по своей воле можно открыть и закрыть, как книгу, прицепить и отцепить, как вагон поезда.

И, чувствуя, наверное, состояние Кирилла, бабушка сказала, не глядя на него:

– Они все погибли, а я осталась жить. Как мне умирать, если со мной умрут и они? Я обещала папе, в мыслях обещала, хотя он уже был мертв, что я не забуду.

Кирилл понял, что слышит завещание. Он хотел невинно отшутиться, дескать, бабушке рано еще думать о смерти, – но вдруг осознал, как невыносим вид этой пыльной, скучной, малорослой травы, произросшей на людском прахе, будто и трава – от семени – была поражена скверной, будто и трава знала горе и зло; и он тихо взял бабушкину руку в свою, поднес к губам, поцеловал, как целуют крест.

\* \* \*

Бабушка Лина умерла на даче. Поехала осенью промыть марганцовкой клубни пионов и пересадить флоксы; цветы были ее связью с мужем Константином, умершим давно, еще когда Кирилл учился в школе. Розовые флоксы, бордовые пионы были для деда, антиквара, способного битый час говорить об узоре на *мейсенской* фарфоровой тарелке, великолепным исключением из его чувства прекрасного; он любил их, лохматые, растрепанные ветром, в каплях дождя, – словно в этом находило отдушину его простонародное воспитание, – и бабушка после его смерти продолжала сажать их вдоль дорожки.

Бабушка уехала утром, в один из тех редких октябрьских дней, что на самом деле августовской породы: в них еще бродят, как сок в перезревших яблоках, последние неизрасходованные силы лета. Ясное утро сменилось жарким днем, к вечеру разразился дождь, занудный и холодный.

Вечером следующего дня бабушка не возвратилась. Телефон в дачной сторожке не отвечал, в такую погоду сторож уходил в свой деревенский дом греть на печи ревматизм. Кирилл

поехал в ночь на старой дедовой «Волге» с барахлящим карбюратором, на «барже», как он ее называл, дважды заглох, дважды заводился – «Волга» любила шаманство, постукивания, паузы в езде, – и наконец свернул на знакомый проселок, из-за рябин у калитки мелькнул свет родных окон. Он даже успел обрадоваться, прежде чем понял, что означает свет в окнах в три часа ночи, горящий, наверное, еще с прошлого вечера.

Бабушка, понял Кирилл потом, ушла как бы раньше, чем ей было отпущено. И эту сдачу дней, драгоценный остаток жизни она вложила в дачный дом, в деревья участка, в лесную округу; использовала недожитое, чтобы создать непроговариваемые, не облакаемые в слова узы; не вина, не долг – лишь странное тянущее чувство, что она, равно присутствующая в шорохах дома, возне ос под застрехами, в появлении грибов на старых грибницах, которые она показывала в детстве Кириллу, в земляничном обмороке лесных полян, – о чем-то вежливо напоминает, о чем-то просит, являясь то лучом света, рассекающим лес, дробящимся о еловые лапы, то падением сухого старческого листа, то скоротечным увяданием флоксов, роняющих лепестки на закатившиеся в водосточную канавку яблоки.

Когда ее хоронили, погода успела поменяться. На Немецком кладбище шел редкий крупяной снег, не тающий на отваленных лопатой пластах рыжей супеси. Когда умер дед Константин, Кирилл был в летнем лагере и не успел приехать; так что впервые на его памяти земля Немецкого кладбища отверзалась, и Кириллу казалось, что гробок стучат лопатами в крышки гробов Бальтазара и Клотильды.

Бабушкин гроб был плохонький – семья жила уже бедно, – и закапывали его неглубоко, могильщикам не хотелось долбить землю, а Кириллу чудилось, что там, снизу, подпирают мертвецы, положенные один на другого; и снова он видел знаки, масонское Око Бога, листы клевера, скрещенные мечи, – и понимал, что никто другой не замечает их, никому нет дела до каменной Книги на известняковом алтаре; все это есть завещание, предназначенное только ему одному.

Смерть бабушки Лины как бы распустила семью; так распадается заколотая спицей неоконченная пряжа. Ни отец, ни мать, ни Кирилл не понимали, насколько их связывает бабушка; казалось, живет она незаметно и тихо, перечитывает книги, ухаживает за старинными вещами, оставшимися от деда, и сама уже вроде старинной вещи. А оказывается, именно бабушка – не словом, не советом, а одним присутствием – смогла сбалансировать разности чужих характеров, помноженные на превратности жизни.

С ее смертью в семью пришли несчастья. Начались сокращения в научном институте отца, он потерял работу, затем мать поскользнулась в гололед и долго лежала в больнице, где уже нужно было покупать и лекарства, и дежурства нянечек. Потом – впоследствии Кирилл увидит в этом прямую параллель с историей семьи во время революции семнадцатого года – пришли бандиты, чтобы отобрать пятикомнатную в сталинском доме у «Октябрьской», наследство деда Константина, пришли, как революционные матросы заходили в дома *мироедов*, чтобы поживиться краденым. Бандиты явились по наводке, знали, что в квартире жил антиквар, коллекционер старины, и, собственно, поэтому хотели именно ее, а не соседскую. Семью выручил генерал госбезопасности, один из покровителей умершего деда Константина, но выручил «по понятиям» нового времени: из пятикомнатной пришлось съехать в трехкомнатную в худшем районе, но имущество, коллекция деда и жизни остались при них.

Отец стал понемногу приторговывать антиками, влез в дела, в которых мало что смыслил, не раз бывал обманут. Да и деньги, вырученные за трофеи давней войны, – дедова коллекция состояла в основном из них, – не держались в руках, не приносили ни радости, ни достатка.

Кирилл не замечал бедности, мирился даже с бандитами, пришедшими выбрасывать их на улицу, – бандиты искупались для него ощущением второй, запоздалой, настоящей юности.

Когда он спустя полтора десятилетия думал о своем поколении, чей взрослый возраст пришелся на девяностые, он чувствовал, что древняя алхимия истории еще жива. Огонь, вода,

воздух, земля – и они были детьми воздуха и огня, не знавшими воды и земли. Детьми великих миражей, вставших над Россией; поколением промежутка, когда монстр российской государственности почти издох, сделался слаб, призрачен. И когда атмосфера поменялась, а потом кислород для дыхания вообще исчез, выяснилось, что опереться им не на что, они – порождения игры воздуха.

Союз развалился без большой крови, будто сам собой, и они были развращены легкостью распада, а потому не готовы к сопротивлению. Они думали, что все зло заключалось в СССР и теперь, когда Союза нет, события пойдут по правильному пути; не понимали, что зло есть часть истории и демократия – система минимизации зла, а не торжества добра. Ныне они были дважды бесприютны, потому что страны, в которой родились, нет, и страны, в которой выросли, тоже нет.

Кириллу было хорошо в девяностые; словно с вещей и явлений сдуло пыль, сняло поволоку и они обрели свободу. Он работал, писал, преподавал, получал гранты, выступал на научных конференциях, не будучи в силах выстроить умную стратегию, взять одну тему, занимался то историей коллаборационизма во время Второй Мировой, раскулачиванием в национальных республиках, то Коминтерном.

Отец его в советское время был близок к диссидентским кругам, читал «Архипелаг» и даже однажды, кажется, участвовал в сборе денег в чью-то пользу. И Кирилл со рвением, удивлявшим его самого, желал, чтобы все, о чем говорили вполшепота на кухнях, прозвучало в полную силу, чтобы были книги, фильмы, памятники; но на самом деле он просто пытался избежать своей личной миссии. Отстаивать абстрактную правду истории, толковать о других ему было комфортнее, чем спуститься – до самых бездн – в прошлое собственной семьи.

Семья – из-за детерминизма родства, причинности рождений, образующих неотменимые связи, – стала олицетворять для него то, чего он больше всего в жизни боялся: невозможность управлять, контролировать – в данном случае прошлое. Кирилл опасался, что в его жизнь ворвется хтоническая *стихия* прошлого, темная его, донная вода; то, что невозможно изменить и невозможно принять.

Еще в детстве, испытывая болезненные приступы мечтательности, он представлял, что он ничей сын, ничей внук, никто не рождал его на свет, он как бы дополнительный, всем чужой, ни с кем не связанный, даже с любимой бабушкой Линой.

В юности он стал испытывать неприязнь к словам, обозначающим отношения родства. Тесть, сноха, золовка, деверь, теща – они казались ему дремучими, косматыми, пришедшими из родоплеменной тесноты языка. Кирилл не мог представить, чтобы он стал субъектом этих слов, будто это означало зарости звериным волосом, лесным мхом, обратиться в получеловека-полузверя, связанного языческими узами не только с подобными ему, но и с рощами, источниками, полями, деревьями, животными.

И Кирилл опасался, что, спустившись по лестнице родословной хотя бы в тридцатые годы, в пыточный подвал, пахнувший кровью, он узнает что-то такое, что украдет у него право распоряжаться собственной жизнью, сделает его человеком – он встречал таких, – что ходят, заживо умерщвленные страшными истинами прошлого, являясь другим, как призраки совести; вынуждены жертвовать собой, чтобы искупить грех отцов.

Изредка Кирилл открывал бабушкину конторку с раздвижными деревянными дверцами, где она хранила бумаги, уцелевшие за столетие. Открывал – и не прикасался к бумагам, смотрел на замусоленные, прохудившиеся уголки конвертов, и ему казалось, что из этих дыр, как из письма ассасина, может вытечь ядовитый воздух. Он закрывал конторку – и возвращался к книгам, статьям, лекциям, обещая себе, что однажды он обязательно прочтет архив бабушки и напишет некий текст.

Кирилл думал, что сперва он должен позаботиться о собственной судьбе, обрести независимость. Он упорно работал, защитил кандидатскую диссертацию по РОА, обрел имя, репу-

тацию. И был приглашен в Америку с проектом о депортациях евреев в Российской империи во время Первой Мировой войны.

Это была не его тема. Кирилл написал проект как бы на полях других своих штудий и отправил, говоря себе, что ни на что не надеется, но вполне понимая конъюнктурную выигрешность заявки.

Пришел ответ: Гарвард, два года, огромная зарплата, возможность продлить работу и пребывание; статусное предложение, высшая научная лига. Кирилл немедленно согласился, говоря себе, что эти два года позволят ему окончательно состояться как ученому. Но втайне знал, что не вернется в Россию, отделит себя океаном от судеб Европы, в которые вpletены судьбы семьи, откажется от идеи книги, завещанной бабушкой Линой, будет заниматься чуждым, ненужным для него, но значимым для других, напишет совсем другую книгу, переберется на иной материк – навсегда.

Образ бабушки Лины все же напоминал ему о завещании и обещании. И Кирилл, не замечая, стал реже думать о ней. Принадлежавшие ей вещи внезапно стали нежеланными свидетелями; ее лампа, стол, книжные шкафы, даже сахарница на кухне, куда клала она наколотый щипчиками с птичьим клювом кусковой сахар, – стали казаться ему отжившими, ненужными, захламляющими дом, хранимыми ради нелепой, фетишистской материальности памяти. И он под разными предлогами стал избавляться от свидетелей: спрятал сахарницу в буфет, а другие предметы убрал в кладовку или перенес в ее комнату, стоящую пустой. Он сам не видел этой скрытой войны, представлял ее как простую заботу о функциональности пространства; думал – как легко думать от имени мертвых, – что бабушка Лина больше других радовалась бы его успеху, его предстоящей поездке в Америку.

В предотъездных заботах Кирилл чувствовал, что упустил что-то, но полагал, что ощущает объяснимую тревогу сборов. Однажды вечером, недели за две до вылета, отец сказал ему как бы невзначай:

– Может, ты бы съездил на кладбище? На дорожку?

Кирилл устыдился. Простая мысль, что нужно побывать на могилах, попрощаться, вообще не приходила ему в голову. Он знал, что раньше обязательно подумал бы о кладбище сам, это случилось бы естественно; а теперь – что же с ним произошло? Кирилл по-другому посмотрел на отца, казавшегося ему выпавшим из времени, и вдруг понял, как отец любит его, и любовь дает ему точное зрение, недостающее сейчас самому Кириллу.

Он обнял отца. Теперь ему казалось, что нужно отправиться на Немецкое, постоять у могил, и внутренняя тревога исчезнет, она вызвана просто несоблюдением ритуала, отступлением от долга памяти и почтительности.

Отец же посмотрел вбок, в темноту коридора, и ничего не сказал, только закрыл глаза и покачал головой.

Кирилл поехал на кладбище в начале весны, когда дни теплы, а ночи еще морозны. Поехал, как ему казалось, в хорошем настроении – проститься надолго или навсегда с родными в солнечный этот, веселый день и такими запомнить могилы, дорожки, ворота. Но чем ближе он подъезжал, тем неуверенней себя чувствовал. Чудилось, нужно повернуть обратно, или купить цветы, или не покупать цветов – цветы будут выглядеть как неточная попытка извинения; замигала лампочка двигателя, он знал, что мотор в порядке, датчик сбоят, но разозлился, как злился от любой неисправности. У входа стояла гробовая тележка, родственники в черном ждали, когда привезут гроб, дворник посыпал дорожку солью; и тележка была заржавленная, и соль падала крупными комками, и старуха в черном пальто посмотрела искоса, будто ее оскорбила зеленая Кириллова куртка.

Кирилл прошел по аллее, спустился по дорожке вниз. Наметенные за зиму сугробы уже оплыли, из-под снега показались побелевшие, раздавленные пластиковые цветы.

Каменный монумент Бальтазара и Клотильды виден издалека. Вот и алтарь с книгой, вот и скамеечка, вот и...

Бабушкина мраморная плита была расколота надвое. Трещина разделила имя и фамилию, дату рождения и дату смерти.

Сначала Кирилл подумал, что в камне была каверна, во время оттепелей туда попадала вода, потом вода превращалась в лед, и в конце концов от расширений и сжатий мрамор треснул.

Он испытывал только жалость об испорченной вещи, так хорошо знакомую детям: мгновенный переход от целости к осколкам вызывает ощущение предательства материи, оказавшейся с тайным изъяном, и желание открутить время на три секунды назад, чтобы ваза не была случайно задета рукавом.

Кирилл размышлял, что надо зайти в контору кладбища, найти мастера по камню, пусть тот решит: чинить плиту или заказывать новую.

И вдруг – неподалеку скрежетнули о камень санки уборщика – резкий, неприятный звук перестроил его восприятие как картинку калейдоскопа: Кирилл стал видеть облупившуюся краску ограды, грязь на снегу, перья мертвой птицы, надломленные снегом ветки, а главное – линию трещины, случайную и определенную, как зигзаг молнии; черноту внутри трещины, самое вещество черноты, будто не принадлежащей этому миру.

Вдалеке прозвенел трамвай, звон был прощальный, будто трамвай уезжал куда-то в смерть, будто знал, что сегодня кого-то зарежет тяжелыми колесами. И с этим звоном, – обратно с кладбища они возвращались с бабушкой на трамвае, красном трамвае с бежевой полосой, с круглыми желтыми фарами, – Кирилл понял, какой знак ему явлен, что значит эта расколота плита. Он не верил в материальность духов, в то, что покойная бабушка буквально где-то существует и может вмешиваться в события этого света. Страх его был в том, что это просто вода оттепели набралась в каверну, развалила пополам мраморную плиту, – но для него именно рациональность объяснения лишь подчеркивала тончайшее, живущее жизнью блика совпадение его отъезда и появления трещины.

Кирилл понял, что никуда не поедет, сдаст билеты, соврет что-то руководителям гарвардской программы – иначе эта чертова трещина не отпустит его до конца жизни, будет отпечатываться на всем, что будет полагать он прочным и цельным, станет раскалывать чувства, отношения, привязанности, черной змейкой бессмыслицы пробегать через строки, смотреть из глубины зеркал, мучить провалами, ущельями без мостов во снах, сторожить в старых домах, где потрескались стены, являться в асфальте, в древесных стволах, разбитых морозом, несущих вертикальные бугристые шрамы, обметанные струпьями коры.

Ему стало легко. Кирилл провел рукой по каменным складкам покрывала, наброшенного на известняковый алтарь, по каменным пустым страницам открытой книги. В старый известняк уже давно вгрызались морозы, вода и солнечные лучи. Кирилл смотрел на его поверхность как на страну, на материк; приблизил глаза к темному камню, к его выщербинам, кратерам, гуртинам мха, к долине разломленных на переплете листов – и стал различать горы, леса, дороги, города, туманные тени прошлого и грядущего, движущиеся, как тени облаков на равнине. Книга Судеб привиделась ему, и он ощущал, различал все времена сразу, зрел самого себя, стоящего на кладбище, которое одно было неизменным и неподвижным; все остальное мерцало, скрывалось в тенях, возникало и пропадало; туманные моря омывали материк Книги, и туда отправлялись корабли; строились и исчезали города, шли по дорогам войска. И только каменный алтарь, укрытый каменным покрывалом, с каменной книгой поверх, стоял среди мерцания, дыма, искр, смены дней и ночей, – как ось мира.

Кирилл обернулся. Бабушка смотрела с фотографии на расколотой плите. Взгляд ее был радостен.

Кирилл еще долго бродил по кладбищу. Он чувствовал себя в Большом зале консерватории, где занял свои места оркестр и чудные инструменты изготовились производить звук. Он ощущал, что музыка где-то рядом, словно сквозь шум дня действительно могло прорваться пение органных труб, скрытых завесой солнечных лучей.

Отец и мать с облегчением приняли известие о том, что он не едет в Гарвард. Мать просто была рада, что он не уезжает от нее. Отец уговаривал обдумать решение, не рубить с плеча. Но Кирилл видел, что отец тоже рад, только по иной причине, и причины этой Кирилл не мог понять.

\* \* \*

Потом, вечером, Кирилл думал об отце.

Думал как о человеке глубоко ему чуждом – настолько, что в этой чуждости была заложена парадоксальная близость: ведь это отец – благодаря отталкиванию, отторжению – сделал его тем, кто он есть. Думал, перебирал даты, обстоятельства, исторические контексты, неспешно пытаясь дистиллировать из них алхимию судьбы.

Отец рос, видя номенклатурных знакомцев Кириллова деда. Кабинетные генералы, снабженцы, специалисты по репарациям восхитили мальчика пошитыми по спецзаказу мундирами, богатыми орденами, наградным оружием, трофейной обстановкой.

Бенефициары победы, получившие по «Победе», они – хотя бы в глазах ребенка – хотели казаться настоящими солдатами, речи их были полны бахвальства, преувеличенных или небывших подвигов. Дед Константин знал этим людям цену, но вынужден был пускаться в дом; бабушка презирала, но не смела перечить мужу. И они приходили пировать, брали мальчика на трибуны на Красной площади смотреть парад, возили в тир, дарили роскошные, не по возрасту, подарки.

Восемь лет прожившие после войны под Сталиным, боявшиеся его даже мертвого, запивавшие водкой, заедавшие жирным антрекотом свой ужас перед ним, они в своем кругу продолжали праздновать день рождения Вождя – ибо опасались, что он вернется, достанет и с того света, сотрет в лагерную пыль.

Во время войны они вымещали свой страх перед Сталиным на подчиненных, унижая, избивая, расстреливая. А после, когда Вождь умер, они стали радостно «подпевать» эстрадным песням, фильмам и мемуарам старших по званию, изображавшим их бесстрашными героями.

Они пытались заковать свой страх, завалить его трупами, оглушить киношными залпами «катюш», победить его, в конце концов. Но сколько бы ни играли на экране бравадные марши, ни проносились черно-белые танки мимо указателя «На Берлин» – страх всегда был рядом, носил френч, курил трубку и разговаривал голосом актера Михаила Геловани.

Мальчик не знал. И потому считал старших рабов Хозяина за достойных людей; приятельствовал с их отпрысками, учился с ними в элитной школе, а потом и в университете.

Но была в нем – наверное, от матери, от Кирилловой бабушки – повадка одиночки, умение вести себя так, чтобы не оказаться в первых рядах, в активистах, в героях; не мужество, но способность быть, если понадобится, неудобной добычей, как черепаха или рыба-еж.

Никому не перебежал дорогу, ни с кем не соперничал, состоял в комсомоле, вступил в партию. Поддерживаемый связями отца и знакомых, не был, однако, карьеристом; не умел и не хотел *есть* людей, был хладен к большим идеям, но упорен в науке. Занимался своей археологией, словно желал спрятаться глубже во время, в историю, укрыться в разрушенных дворцах и храмах среднеазиатских правителей, в домах купцов, погибших во время монгольского нашествия, уменьшиться в размере, уйти в угли давних пожаров, в глину, в песок.

Мать никогда не говорила ему о немецких предках. Но он и сам благоразумно не углублялся в семейную историю, словно не видел последних исторических эпох, обладал врож-

денной исторической дальнорукостью, хорошо различая лишь то, что отделено веками. В своих археологических экспедициях в Азии он встречал и *археологию* новейших времен, недавние руины лагерей, поселения высланных народов, карьеры и шахты, построенные рабами ГУЛАГа, но нельзя было сказать, что он об этом думает, что чувствует.

Там же, в Азии, он встретил жену, будущую мать Кирилла. После института ее отправили по распределению высаживать ветрозащитные полосы, бороться с суховеями, уничтожающими целинные черноземы, распаханые по указу Хрущева. Отец ее умер вскоре после войны от ран, а мать, надорвавшаяся в эвакуации, скончалась незадолго до свадьбы дочери.

Ветрозащитные полосы плохо спасали от жестоких ветров; деревья худо приживались, болели, засыхали на корню еще саженцами; но мать Кирилла сажала полосы снова, ругалась с районным начальством, требовала неустанного труда от рабочих, словно схватка с дыханием пустыни стала для нее служением памяти родителей. Там, на краю земли, ее и встретил отец Кирилла.

Фактически он украл ее, без ее ведома устроив перевод молодого специалиста в Москву, – кто-то из военных приятелей деда Константина был большой шишкой в Министерстве лесной промышленности; украл, полюбив ее простоту и твердость, чувствуя, что ему, беглецу от настоящего времени, нужна жена, могущая взять на себя сегодняшний день, оставив ему далекое и безопасное минувшее.

Она сначала дичилась их московского дома, дедовской большой квартиры. Впервые оставшись там одна, рыдала – не от страха, а от чувства чуждости старинных вещей. Но вскоре родился Кирилл, и мать через него, не имеющего представления о старости или ценности вещей, ползающего, ходящего, лазающего, – дед переживал за сохранность антиков, но ничего не запрещал внуку, – стала осваивать мир московской квартиры. А когда дед Константин умер, заняла его место хранителя дома.

Но Кирилл догадывался, что этот дом, эта жизнь так никогда не стали *ее*. С тем же упорством, с каким сажала ветрозащитные полосы, она потратила множество сил, вживаясь в мир мужа, его родителей, сына. Однако – так чувствовал Кирилл – она потратила внутренних сил слишком много, и когда придет время ее старости, ее слабости, она не найдет в этом доме, в этих вещах себе настоящей опоры.

И Кирилл надеялся, что его книга, как спасательная лодка, как ковчег, возьмет на борт и отца, и мать.

\* \* \*

Кирилл открыл конторку с бумагами бабушки Каролины – теперь он не мог звать ее, как прежде, Линой – на следующий день. Теперь конторка не выглядела такой маленькой, какой он помнил ее в детстве. Он переставил ее на стол. Деревянный короб казался тяжелее, чем бумага в нем, словно что-то еще весили сами буквы, мириады букв; события, судьбы, смерти, запечатленные на листах.

Там были потертые сафьяновые альбомы с открытками, подборки писем в конвертах и без. Аккуратные записные книжечки, старые школьные тетради, обтянутые потрескавшейся кожей альбомы фотографий. Газетные вырезки, школьные аттестаты, гербовые имперские бумаги, деньги – имперские ассигнации, миллионные бумажки времен революции, советские рубли. Маленький кляссер с марками, видно срезанными с конвертов; рукописные листы с машинописью на обороте – кто-то брал уже использованную в каком-то учреждении бумагу. Какие-то и вовсе невнятные обрывки, скомканные и потом разглаженные утюгом, записки с расплывшимися от влаги слез чернилами, трамвайные билетки, пробитые пятизубым компостером, математические расчеты делением в столбик – и снова блокнотики, старые телефонные книги с короткими еще номерами, каких при своей жизни уже не помнил Кирилл, совет-

ские поздравительные открытки с флагом и гербом, школьный дневник отца за третий класс, детские каракули – рисунки, детсадовские аппликации из цветной бумаги на Восьмое марта, характеристики с работы, отпечатанные на машинке с западающей буквой И, удостоверения, пропуска, закончившиеся сберегательные книжки, значок с Гагариным. Выкройки свадебного платья с приколотым куском зябкого кружева, выписанные на листочках рецепты супов и пирогов, исписанные, протертые до дыр листы черной копировальной бумаги, где одни строчки накладывались на другие, образуя странное сплетение слов-призраков; два использованных, с оборванными квиточками, билета в планетарий, два неиспользованных билета в Большой театр на «Евгения Онегина», чертежи дачного дома на вошеной бумаге, обертка от шоколадной конфеты «Полет», – кто съел ее, зачем сохранил фантик? – рецепты на лекарства, вырезка из газеты с некрологом деда Константина. И снова бабушкины письма, фотографии ее братьев и сестер, несколько тетрадей с обрывочными записями; толстая тетрадь, исписанная незнакомым Кириллу почерком с ятями и ерами, облигации государственного займа, старая схема движения московских трамваев; опять тетрадка, бабушкин почерк, ровные строчки – писала от руки, без помарок, наверное переписывая с исчерканного черновика; снова документы, снова письма, конвертик с негативами, библиотечный абонемент, квитанция на ремонт часов...

Вообще-то в бабушкином не терпящем беспорядка характере было бы разобрать все эти бумаги по темам и годам, разложить по конвертам, надписать каллиграфическим, словно в пособии по чистописанию, почерком. Но почему-то она этого не сделала. Откладывала на потом? Нарочно все перемешала, чтобы создать путаницу, головоломку?

Кирилл думал, что, вероятнее всего, она не хотела упорядочивать прошлое, то есть в каком-то смысле хоронить его, наряжать в парадный костюм мертвеца. В этом смешении всего со всем, важного с неважным, случайного с серьезным прошлое еще жило, мелодически дышало – и бабушка Каролина хранила его таким.

Несколько месяцев Кирилл разбирал, рассортировывал, перечитывал бумаги, раскладывал по стопкам, придумывал классификации: по людям, по эпохам, по жанрам. Но любая классификация рассыпалась: о годах до революции, о Гражданской войне бабушка писала своему возлюбленному в тридцатые – безвестная трагедия, письма были ей возвращены, уже без конвертов, стопкой, и осталось только имя Аркадий – разлюбил, арестован, погиб на войне? О девятнадцатом столетии рассказывал дневник прадеда Арсения, страницы, написанные в зиму семнадцатого-восемнадцатого годов, а о событиях той зимы – позднейшие рукописные воспоминания бабушки Каролины в отдельной тетради и несколько фотографий. Немногие уцелевшие письма сестер и братьев друг другу то сообщали о сегодняшних заботах отправителя, то отсылали одним абзацем к детству или юности адресата, к событиям, известным состоящим в переписке, но скрытым от Кирилла.

Почтовые открытки, подписи под фотографиями в альбомах – все друг друга окликало, дополняло, перескакивало через время, аукалось, как потерявшиеся в лесу грибники, зияло пропусками, обрывами линий; близоруко щурилось стертыми штемпелями, прятало вырезанные, вырванные страницы, темнело перечеркнутыми строками, разбегалось в разные стороны света, пропадало, пропадало, пропадало...

Кирилл посадил зрение, разбирая чужие почерки, старые машинописные шрифты, следя за переменами в правописании, за пропажей одних слов и рождением других. Он замечал: чей-то язык остается чист, чей-то засоряется словами из газетных передовиц; меняются интонации в отношениях, разнолико отражаются в зеркалах мнений одни и те же события, забывается, зарастает сорной травой, исчезает из писем, воспоминаний давняя семейная легенда о Бальтазаре Швердте и его потомках.

Кирилл догадывался, что получил лишь малую часть некогда существовавшего *целого*. Он видел это по разрывам в переписках, по упоминаниям других, не доставшихся ему, дневников. Уцелела, наверное, лишь двадцатая, тридцатая часть, и среди бумаг не было ни одной на

немцем. Кирилл понимал, что архив пережил много чисток, вызванных разными, большими и малыми, чистками в стране, идеологическими кампаниями, показательными процессами – от раннего таганцевского дела двадцать первого года до «дела врачей» пятьдесят третьего. С разных направлений – будто акулы на плот потерпевших крушение – накатывались волны угрозы, требующие изъять, уничтожить то один злосчастный листок, то целый пласт жизни. Безопасное вчера становилось сомнительным сегодня, сомнительное сегодня – смертельным завтра; архив уменьшался, горел по частям, горел все эти годы, будто служа топливом для неубывающего, прорывающегося горячечными вспышками страха.

Чья-то жизнь уцелела наполовину, чья-то на треть или четверть. От кого-то, как от бабушкиных братьев, вообще остались только обрывки, частицы, малые доли биографии – как убитые, искромсанные лежат на поле боя после разрыва тяжелого гаубичного снаряда.

Кириллу было бы легче читать, если бы он знал, что действительно случился взрыв снаряда, исторический катаклизм, в секунду исковеркавший судьбы и память. А он видел, как люди десятилетиями вырезали, выскабливали из себя куски биографий, абортировали прошлое; чувствовал, что стал свидетелем преступления, совершенного из смертного страха и малодушия. Именно это преступление ему предстояло избыть.

Завесив стену листами ватмана, он чертил схемы и графики. Перед ним вставляли проекции семейного древа – с надломленным стволом, упавшими ветвями, унесенной листвой; такие он видел на фотографиях с мест боев. Этот призрак древа начал являться ему во снах, пророс в него, как неупокоенная тень.

И он, чуждающийся семейственности, в глухих ночных кошмарах стал ощущать себя последней ветвью того призрачного древа, последним побегом, связанным черенком с потусторонним, призрачным бытием, как бы из него, из несуществования, растущим, присутствующим в мире яви и в мире посмертия. Он просыпался с мучительным отвращением к этой древесной метафоре, к растительной ее буквальности, уподобляющей человека ветви или листу; но чувствовал, что должен прожить эту уподобленность, принять отождествление, ибо оно, как маска – актеру, даст силы, необходимые в пути, и ключи к сотне запертых дверей, ждущих впереди.

Месяцы, годы Кирилл шел расширяющимися кругами поисков. Выписал все имена, встреченные в архиве, искал эти имена в мемуарах, исторических исследованиях; прошерстил сотни книг, архивных дел, рукописей, извлекая оттуда драгоценные крупницы упоминаний, утерянные, казалось бы, фрагменты его головоломки. Ездил в те места, где жили предки, искал свидетелей, а если не находил – делал свидетелем само место, пытаясь по нему восстановить абрис былого. Письма с ответами на его вопросы приходили из Сибири, из Европы, из Австралии, из обеих Америк, где внуки и правнуки так же хранили остатки бумаг, доставшихся от дедов и прадедов, бумаг, увезенных под полой, в чемодане, спасенных от ночных обысков, огня, артиллерийских снарядов и торпед подводных лодок в Атлантике.

Все постепенно сходилось, смыкалось, восстанавливались оборванные нити; Кирилл писал черновики, наброски – но не мог уловить ни темперамент, ни жанр будущей книги; она как бы оставалась каменной, не отзывалась его усилиям. Он преподавал в университете, писал статьи, защитил докторскую – рано, вопиюще рано по меркам постсоветского научного мира, но знал, что делает все это в треть, четверть способностей; силы его были связаны книгой, как бы авансом вложены в нее, в самую необходимость удерживать в сознании, памяти, в яви разномастный сонм призраков. Книга все время была с ним, зрела, пересочиняла себя, и он стал ее данником, но не мог ее начать, будто она сама говорила: не время.

А время, большое время, подсказывало: беги. Уезжай.

Закрылись две газеты, где он вел рубрики об истории. Когда он отказался подписать лизоблюдское открытое письмо, ему сократили часы преподавания. Закончились гранты. Все реже приглашали на российские конференции. Недоброжелатели уже поговаривали за спиной,

что он – очернитель российского народа, клеветник; его диссертацию по РОА назвали «анти-патриотичной».

Кирилл чувствовал, как давит, сжимает облавное кольцо время, уподобляя его героям ненаписанной книги; и думал порой, что, может, никакой книги не было и нет, она – греза, Грааль, она лишь выражает его острое, безошибочное чувство, что его судьба – тоже роковая, однако маскирует это чувство, дробит на десятки оттенков, отражает в обстоятельствах прошлого, вменяет персонажам повествования – то есть делает это чувство переносимым, пригодным для *чувствования*, поскольку в чистом, неразведенном виде оно убивает, как взгляд Горгоны.

\* \* \*

Кирилл давно понял, о *ком* будет книга.

О ликах и масках, о дробных, текучих личностях, о Янусах истории. О тех, кому открыты сквозные двери. О непохожих, растущих как бы вбок побегах семейного древа, приносящих диковинные плоды. О странных отпрысках, в которых род заканчивается – и одновременно разворачивается в полноте возможностей, не связанных условностями и традициями. О людях, уходящих прочь от старых связей, в неизвестность. О тайных героях истории, незримо для человечества впряженных в ее приводные ремни. О тех, чья судьба – письмо в бутылке. О необычных звеньях в цепи событий – другой цвет, другой материал, – как рифма, как троп, соединяющих несоединимое. О тех, чьи поступки определяют судьбу последующих поколений, вовлекают их в метафизические водовороты.

... Кирилл видит чертеж семейного древа. Он помнит все ответвления, все имена, и дальнюю, и близкую родню, сотни человек. Корни древа уходят в пятнадцатый век, но Кириллу не нужно так глубоко. Для *его* семейной истории это доисторическая эпоха, подобная отрицательному времени до Рождества Христова, до нашей эры.

В 1774 году новое время еще не наступает; но в Анхальт-Цербсте рождается тот, кто сделает его возможным: Томас Бенджамин Швердт, сын церковного пастора и племянницы Готлиба Рихтера, маститого профессора медицины.

Томас изучал медицину в Йене, где жил у своего дяди, профессора анатомии и хирургии Лодера; другим его медицинским наставником был Кристоф Вильгельм Хуфеланд.

Рихтер, Лодер, Хуфеланд – первейшие медицинские умы эпохи, собеседники и врачи августейших персон, друзья Гете и Шиллера. Члены тайных обществ, магистры масонских лож, исследователи нетрадиционных практик вроде тибетского врачевания, авторы ученых трудов; учителя целых поколений врачей в разных странах Европы; участники великих событий, связанных с Россией: Хуфеланд лечил смертельно больного Кутузова, Лодер организовывал госпиталь русской армии в войне с французами, стал лейб-медиком императора Александра Первого, Рихтер обучал их обоих; и все трое *великих*, как музы или повивальные бабки, имели отношение к медицинской карьере Томаса Швердта.

Разумеется, при такой протекции будущее его было обеспечено. Впрочем, он преуспел бы и сам благодаря своим лекарским умениям, среди которых первейшим было искусство акушера: многие родовитые и богатые фамилии были обязаны ему своим потомством.

Однако выдающихся талантов своих наставников он не перенял. Был принят в их домах, участвовал в беседах, но никогда не встал с ними вровень ни в науке, ни в светской жизни. Несколько раз его судьба как бы давала осечку: рано умерла первая жена, племянница Рихтера, и он не смог вылечить ее; в 1812 году его едва не расстреляли французы за саботаж – накануне казни, когда он уже сидел в каземате и его причастил священник, город освободили прусские войска.

И Томас менял города, кафедры, медицинские специальности, словно надеялся наугад отыскать место, где его дар расцветет, принесет достойные учителей плоды. Всюду он оставался под их опекой, всюду был зван принимать роды у благороднейших семейств, – но с каждым годом все яснее чувствовал, что не войдет в пантеон небожителей от медицины.

В 1805-м родился старший его сын, Бальтазар. С этого момента и начиналась «наша эра» семьи Кирилла, ибо Бальтазар был тот, кто ступил впоследствии на русскую землю.

И Томас, и Бальтазар были частью Большой семьи, чьи границы обширны и зыбки; частью переменчивого союза нескольких семейств, объединенных, помимо разной степени родства, интересами клана. В этих интересах переплетались протекции, политика, деньги. Разные ветви Большой семьи входили в разные иерархии, сословные круги, профессиональные корпорации, состояли на службе у разных государей, поколение за поколением строили карьеру в армии, на флоте, в заморских колониях. Родившийся в Большой семье как бы был ее органом, принадлежал ей, как пехотинец приписан к своей роте, и старшие могли распоряжаться им – женить или выдать замуж, с рождения приписать к армейскому подразделению, определить в священники, врачи, адмиралы, ученые. Большая семья постоянно вела карьерную игру, продвигая своих, укрепляя позиции, захватывая новые источники ресурсов и посты, рассчитывая на два, три, четыре поколения вперед, конкурируя с другими Большими семьями, – и Бальтазар, как и его младшие братья, как и отец Томас, был фигурой в этой игре.

Кирилл научился видеть семейное древо и в этом ракурсе: не только как сеть родства, но и как сеть взаимной поддержки, схему приумножения влияния, капитала, светского «веса», карту географической, социальной, профессиональной экспансии; крона древа иногда представляла для него *роем*, роем золотоносных пчел, собирающих земные и небесные сокровища в сокрытый *улей* семьи.

И Бальтазару, естественно, было предназначено занять свое место в этой игре, стать пешкой, офицером, ладьей. Но он разорвал отношения с отцом – продолжая пользоваться определенной поддержкой Большой семьи, клана – и отправился в Россию. Это объем знаний, которые были доступны прадеду Арсению и бабушке Каролине; не исключено, что Бальтазар, рассказывая детям о прошлом, в силу определенных причин приуменьшил свои стартовые позиции, поэтому потомки воспринимали его как простого доктора, а не посланца могущественных сил.

Кирилл же видит дальше.

Бальтазар закончил медицинский факультет Лейпцигского университета. Отец его – хирург и, что более важно, акушер, практиковавший при дворе Цербста, принимавший вельможные роды, имевший прекрасные знакомства среди знати. За спиной отца, как бы уже в тени вечности, фигуры трех титанов – Рихтер, Лодер, Хуфеланд, великие медики, попечители здоровья тех, кто управлял судьбами Европы. Наверное, были и другие покровители, те, кто остался за кулисами семейной истории. Великолепное начало, грандиозная будущность: только следуй предначертанию, опирайся на благосклонность Творца, и сам, возможно, к преклонным летам станешь титаном, обогатишь медицинскую науку, прославишь имя семьи.

И Бальтазар становится помощником отца, входит в его практику – отец стареет, руки, держащие скальпель или акушерские щипцы, уже не так тверды, как прежде, и ему нужен наследник. А еще отец, младший товарищ великих, ясно осознающий свои способности, знающий, что ему не встать с ними вровень, – наверняка надеется, что Бальтазар превзойдет его, сумеет не просто быть достойным покровительства, но исцелить уязвленное самолюбие отца, доказать, что Швердты способны на большее, что двор Цербста – не их предел.

Бальтазар оправдывает ожидания отца. Он еще очень молод, но – тем слаще слава! – умел и даже дерзок как врач. Три года он трудится с отцом, кропотливо готовит диссертацию – что-то об излечении грыжи, подробнее Кирилл не запомнил, – пишет статьи; защищает диссертацию, и отец готовится отойти от дел, передать Бальтазару свою практику, ввести его в круг старых друзей уже не как сына, а как медика. И Бальтазар, кажется, весь рвение, весь стремление

следовать отцовской опеке и советам; средний брат, Бертольд, учится на том же медицинском факультете в Лейпциге, младший, Андреас, пока мал, и он, Бальтазар, вскоре будет доктор Швердт; в будущем – знаменитый доктор Швердт.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.